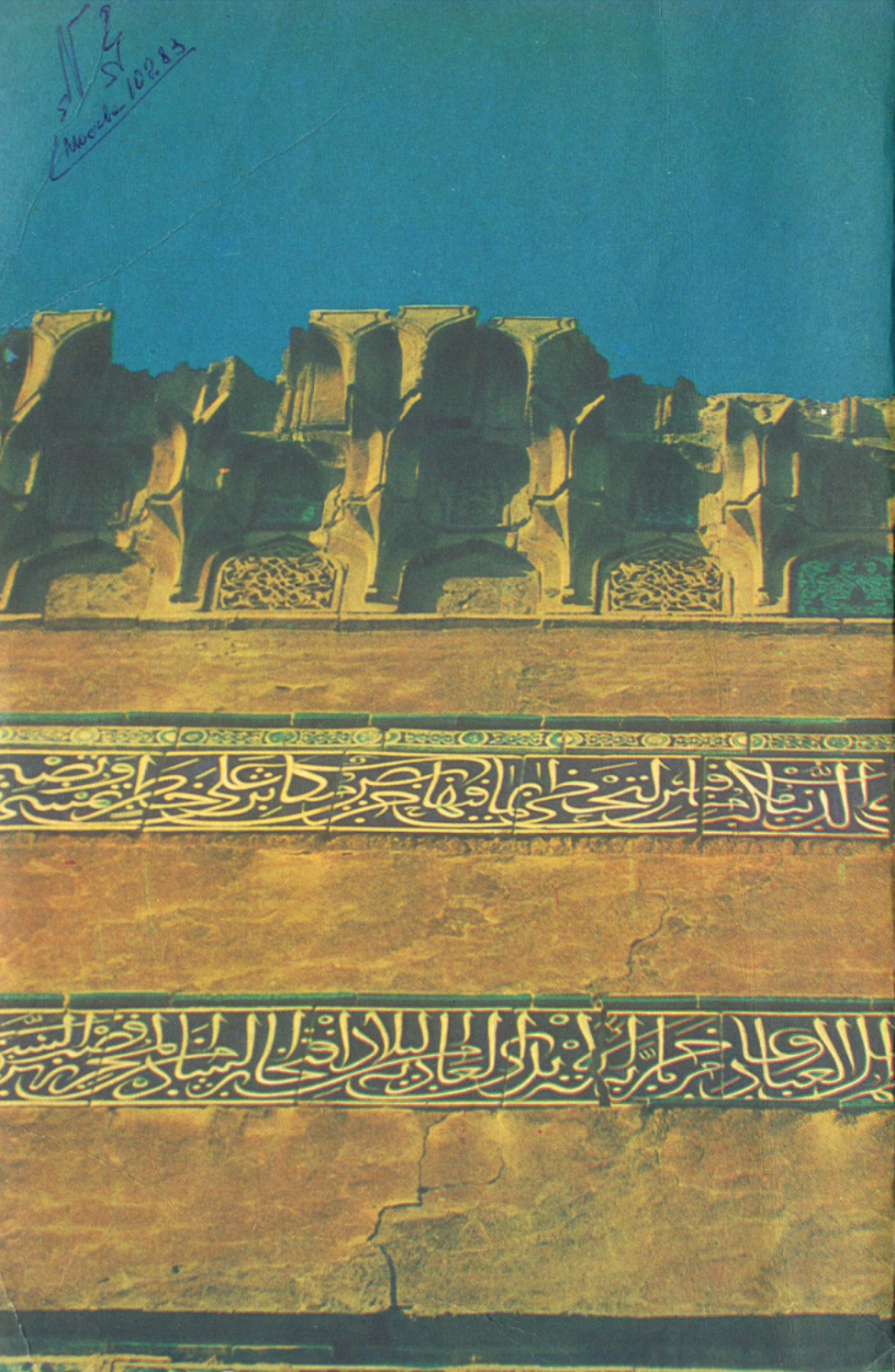




Г.П. Снесарев

ПОД НЕБОМ ХОРЕЗМА

(ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ)



ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ»

МОСКВА • 1973

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Цветные фотографии Д. С. Смирнова,
черно-белые — Г. П. Снесарева
и фотохроники ТАСС

Снесарев Г. П.

С 53 Под небом Хорезма (Этнографические
очерки). М., «Мысль», 1973.

160 с.; 12 л. илл.

Там, где Амударья впадает в Аральское море, в Хорезмском оазисе, окруженном пустынями, жизнь людей, животных и растений полностью зависела от искусственного орошения. Еще сравнительно недавно благодатным водам реки приносили жертвы, по горным тропам хребта Султануиздаг брели, распевая гимны, дервиши — бродячие мистики, по узким улочкам Хивы проходили «служители мертвых», которым обычай запрещал общение с окружающими... Так было когда-то в жизни знойного края. В преображенном Хорезме наших дней от прошлых обычаев и обрядов остались лишь единичные фрагменты. Обо всем этом читатель узнает из книги советского этнографа.

902.7

С 0162—042
004(01)—73 173—73

Жителям Хорезма —
старым и молодым,
мужчинам и женщинам —
с благодарностью
за помощь и гостеприимство
посвящает автор эту книгу

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Небо в этих местах поистине беспредельно. Здесь, на равнинах Южного Приаралья, ничто не мешает ему по всей линии горизонта тесно прильнуть к земле, охватив ее широкими голубыми объятиями. Большую часть года ни одно облачко не возмущает его просторов. Даже в те дни, когда Кызылкум бросает в сторону оазиса песчаные ураганы, небо слабо голубеет сквозь пыльную дымку, повисшую в воздухе над Хорезмом.

За многие тысячелетия жизни этого края облик его постоянно менялся. Ветры пустынь перемещали барханы и заматали караванные тропы, пески вплотную приближались к культурной зоне. Контуры зеленого оазиса то сужались, то расширялись. Возникали и рушились государства, появлялись и исчезали после опустошительных войн оросительные каналы, Амударья меняла свои протоки, и только небо Хорезма осталось неизменным.

На нас, в течение ряда лет колесивших по дорогам оазиса, небо посматривало равнодушно. Оно без всякой жалости оставляло нас один на один с раскаленным солнцем, ничем не пытаясь прикрыть его диск, пылуший жаром.

Свыше ста лет назад оно, наверное, с таким же равнодушием взирало с высот на одинокую человеческую фигурку, темневшую в клубах дорожной пыли. Даже всевидящее небо не подозревало, что в лохмотьях дервиша устало брел, держась за хвост своего ишака, известный востоковед, наш коллега из далекой Венгрии. Он, несомненно, был смелый человек, этот любознательный Герман Вамбери, с риском для жизни пробравшийся инкогнито в Хиву и Бухару — цитадели феодального деспотизма и оставивший увлекательные воспоминания о своих путешествиях в Среднюю Азию. Простим ему разного рода неточности, ведь он не имел возможности открыто записывать обо всем увиденном и услышанном.

Скрыть свое подлинное лицо под маской дервиша было, конечно, блестящей идеей. Члены этой корпорации мистиков не подлежали контролю со стороны светской и духовной власти ханств, были автономны и, ведя бродячий, нищенский образ жизни, могли появляться всюду — и в хижинах бедняков, и на пирах придворной знати. И все же, несмотря на отличное знание языков, Вамбери многим рисковал: каждое необдуманное слово или жест могли его выдать.

Странствуя по территории бывшего Хивинского ханства, я нередко вспоминал этого ученого. Возможно, мы ходили по одним и тем же дорогам, сидели на одном и том же камне, укрываясь в тени древнего карагача, удивлялись причудливым орнаментам на портале хивинской мечети.

И вместе с тем нас разделяла целая эпоха. Она измерялась не временем, а теми коренными изменениями, которые произошли в экономике, общественной жизни, в культуре и быте жителей Хорезмского оазиса всего лишь за пятьдесят последних лет. И теперь странствия Вамбери кажутся нам одной из сказок «Тысячи и одной ночи».

Трудно поверить, что в его время для иноземца вполне реальной была перспектива оказаться у ворот резиденции хана с перерезанной глоткой или до седых волос гнить в подземной тюрьме-«клоповнике».

В наши дни, странствуя по самым глухим закоулкам Хорезмского оазиса, мы не могли погибнуть от зноя и жажды, нам не грозил сабельный удар при нападении на караван кучки разбойников. Все опасности, которыми подвергал себя Вамбери и в пустыне, и в цветущих садах культурной зоны, стали легендой. Ханы, эмиры, их коварные визири, гаремы, палачи и свирепые нукеры давно переселились на страницы истории.

Тракторы и хлопкоуборочные комбайны величественно плывут ныне по земле, на которой столетиями крестьянин сгибался над плугом, погоняя тощих волов. Замолкли чигири, скрипучие водоподъемные колеса на каналах, теперь выпрямленных и углубленных, с механизированными регуляторами подачи воды. Вместо рассеянных по равнине хаули, усадеб хуторского типа, — электрифицированные поселки, окруженные бескрайними плантациями хлопка. Там, где по узким тропам медленно брели караваны верблюдов, проносятся по асфальтированным шоссе автомобили последних марок. Во дворцах ханов и их сановников — музеи, клубы и пионерские лагеря.

Нет, нам не приходилось, подобно Герману Вамбери, пешком или на ишаке сутками перебираться из города в город, из селения в селение. У нас была надежная экспедиционная ма-

шина, верно служившая нам все эти годы странствий. Мы были снабжены всем, что необходимо человеку в дальнем пути, — палатками, походными койками, спальными мешками, посудой, продуктами.

Нам незачем было одевать одежду дервиша: люди современного Хорезма отлично нас понимали и гостеприимно встречали в своих домах.

И все же... Все же некоторое сходство с бродячими дервишами было и у нас. Как и они, мы всегда были в пути. Сам характер наших исследований приводил нас, странников, по дорогам Хорезма к тем же пресловутым местам паломничества, куда некогда стекались нищенствующие мистики. И нас жгло палящее солнце, поливали весенние дожди, ночь заставляла в пути, и мы коротали ее у костра, готовя свой скромный ужин. Приходилось нам и застревать в барханах пустынной зоны или в мокрых солончаках, и прятаться под брезент машины от проливного дождя в горных ущельях.

И, как дервиши, мы изо дня в день, из года в год бродили по дворам, по крупицам собирая у людей все то, что пополняло запас наших познаний о крае и его жителях. Люди были щедры, и наша «дервишская сума» никогда не пустовала.

Но не пора ли сказать, кто мы такие и что привело нас в низовья Амударьи.

Много любознательных людей бродит по нашей стране. Я имею в виду не туристов и не репортеров всех видов «оружия», а людей науки из того беспокойного племени, которое из тишины кабинетов и библиотек, дождавшись начала полевого сезона, устремляется к природе и людям на широкие просторы нашей страны.

Много и интересно пишут о геологах, ботаниках, зоологах и других представителях естественных наук.

Ученые гуманитарных наук тоже немало кочуют по стране в поисках своего специфического материала. Археологи вгрызаются в землю, стремясь обнаружить и изучить остатки исчезнувших культур; антропологи обмеряют головы и носы, приводя в восторг местных ребятишек; историки бродят по следам давних и недавних событий общественной жизни; фольклористы и музыковеды записывают на магнитофонную ленту голоса и мелодии.

А мы этнографы. Мы изучаем культуру и быт ныне здравствующих народов в их историческом развитии. Наши исследования ограничены рамками времени; этнографам доступно то, что можно самому увидеть, а также то, что еще сохранила память старшего поколения людей. Этнографы изучают быт и

культуру современных народов. Находясь во время полевых экспедиционных работ в самой гуще населения, они собирают материалы об исконных занятиях того или иного народа, о характере поселений и жилищ, их интересуют национальная одежда, прикладное искусство, особенности семейного быта и семейных отношений, обычаи и обряды. Все это необходимо для решения сложных проблем этногенеза, то есть происхождения данного народа и его исторических судеб, культурных взаимовлияний с другими народами, соотношения традиционного и общекультурного в современном быте.

Этнографический отряд Хорезмской археолого-этнографической экспедиции много лет работал в Южном Приаралье. Наши научные интересы в пятидесятые годы затрагивали одну из наиболее деликатных, интимных сторон человеческого сознания — религиозные верования, частично уже стертые, частично еще продолжавшие бытовать. Это наиболее труднодоступная область духовной культуры. Проникнуть в нее не так просто. Вместе с тем эта тема исключительно интересна для изучения. Верования и обряды в целом отличаются большой консервативностью, в них много всякой архаики; исследования в этой области, проводимые в историческом аспекте, дают возможность проникнуть к весьма ранним формам религиозного сознания.

Надеюсь, читатель не будет на меня в претензии, если с первого же очерка я уведу его из реального, окружающего нас мира, где все ясно, четко и определено, туда, где царит миф, легенда, где все нормальные понятия смещены, где явления природы и общества отражаются как бы в кривом зеркале.

Читателю придется временно отказаться от привычного для него образа мышления, от привычных понятий и доверчиво проследовать с нами в странный мир тех фантастических образов, которые некогда довели над сознанием человека.

В Средней Азии в течение двенадцати столетий господствовала мусульманская религия ислам, принесенная сюда извне и силой привитая народам этого края.

Но мусульманская религия интересовала нас меньше всего. Эта сравнительно поздняя по времени возникновения и оформления религиозная система, распространенная во многих странах Азии и Африки, довольно хорошо изучена. Мы, естественно, тоже ее не обошли, но лишь постольку, поскольку ислам в своем среднеазиатском варианте — религия синкретичная, сохранившая многие элементы более древних, домусульманских верований.

Ортодоксальный официальный ислам по существу довольно

скучная религия. Ее представления и обрядовые действия стиснуты жесткими рамками схоластических правил. Язык Корана, священного писания, чуждый народам Средней Азии, превращал верующего в автомат для зазубривания непонятных текстов.

Нет, не эта схоластика привела нас на берега Амударьи. Нам хотелось знать, что было до мусульманства в этих местах, каковы были исконные верования у народов Средней Азии, которые в VIII веке нашей эры сменила новая религия. Внести ясность в этот вопрос можно, только собрав воедино все то, что уцелело от древних верований и культов. Поэтому мы и обратились не к официальной религии, а к тем народным верованиям, которые существовали параллельно с исламом, то переплетаясь с ним, то сохраняя самостоятельную жизнь.

Это была увлекательная работа, не простая фиксация существующего, а поиск в полном смысле этого слова. Но чего же можно было ожидать в итоге подобного поиска? Есть ли какие-нибудь сведения о домусульманских верованиях народов Средней Азии? Да, они есть, и мы обязаны этим археологии и сохранившимся письменным памятникам. Археологические находки, труды арабских и местных ученых и особенно письменные памятники Ирана говорят о значительной роли, которую на обширных территориях Передней и Средней Азии играла до ислама зороастрийская религия, сейчас почти исчезнувшая, сохранившаяся в сугубо модифицированном виде только в некоторых иранских общинах и в Западной Индии.

Зороастризм, получивший свое название от мифического пророка Зороастра, — довольно развитая религия, основанная на представлении о борьбе двух начал — добра и зла; первое олицетворяется верховным божеством Агура-Маздой, второе — главой демонов Ангро-Майнью. Агура-Мазду окружает пантеон божеств, среди которых выделяются богиня водной стихии и плодородия Анахита и бог огня Атар; большое значение последнее в культе дало и всей религии второе название — огнепоклонничество. Двойником злого начала является чудовище Ажи-Дахака в виде трехголового дракона, пожирателя людей. Ангро-Майнью опирается на своих помощников, враждебных человеку демонов — дэвов и пайрика. Концепция нечистоты всего мертвого породила в зороастризме особый погребальный ритуал, предусматривающий изоляцию мертвого тела от священных стихий — земли, огня, воды и воздуха.

Археологи Средней Азии обнаружили во время раскопок, что на территории края (особенно это относится к Хорезму) был распространен обряд зороастрийского захоронения костей

в глиняных ящиках — оссуариях. Многочисленные терракотовые статуэтки, среди которых особенно много обнаружено изображений богини воды и плодородия Анахиты, конкретизировали пантеон доисламских божеств.

Данные археологии о зороастризме в Средней Азии надо было подкрепить. Так родилась и наша попытка проникнуть к зороастризму методами этнографической науки.

Если зороастризм был распространен в древних государствах-оазисах, то на их периферии, где передвигались кочевые народы степей, существовали менее развитые племенные верования, из которых в конце концов и выкристаллизовалась религия Агура-Мазды. Для них были характерны такие элементы первобытных религиозных представлений, как магия, анимизм, почитание природы, животного и растительного мира, поклонение духам предков. Отыскание следов этих верований было нашей второй задачей.

Если какие-то элементы зороастризма и первобытных верований еще жили, то, без сомнения, обнаружить их было делом нелегким. Поэтому, вооружившись «дервишской сумой» для сбора добротных «подаваний», мы пошли к людям. Мы знали, что народная память, хранящая поразительные легенды, предания, воспоминания о старинных обычаях и обрядах, нас не разочарует. И мы не обманулись в своих ожиданиях.

Но почему для этой цели мы избрали Южное Приаралье и что такое Хорезм?

Раскройте карту Средней Азии. Вы легко найдете на ней Амударью — главную водную магистраль края, стекающую с гор Памира, идущую сначала по южной границе нашей страны, а затем в северо-западном направлении. Спуститесь по ее течению к низовьям. Здесь вы найдете оазис, по форме напоминающий треугольник, с двух сторон зажатый между пустынями Каракумы и Кызылкум, а третьей стороной прилегающий к Аральскому морю; на северо-западе над оазисом нависает плоскогорье Устюрт. Это и есть Хорезм, древний край, освоенный человеком, одна из колыбелей среднеазиатской цивилизации.

Рельеф этого края не поражает контрастностью; аллювиальная равнина, занимающая почти всю его территорию, довольно однообразна. Горы и возвышенности здесь немногочисленны. Голые и плоские сопки Султан Санджар встречают вас в юго-восточном районе оазиса, у «ворот Хорезма». Далее, следуя вдоль правого берега и достигнув Бируни (бывший Шаббаз), вы заметите синеющий на горизонте хребет Султануиздаг; он начинается где-то в песках и по мере вашего дальнейшего про-

движения по течению реки приближается к ней, а в районе Кипчака нависает над ее поймой краем Каратау. Продолжением последнего на левом берегу являются холмы Джумыр и небольшая возвышенность Кубатау.

Горы Султануиздаг необитаемы ввиду полного отсутствия воды, если не считать быстро пересыхающих весенних потоков. Горы невысоки, почти лишены растительности. Тем не менее они живописны. Особый мрачный колорит им придают выходящие на поверхность темно-зеленые, бурые и почти черные скальные породы. В сочетании с поблескивающими мраморами они оставляют какое-то фантастическое впечатление.

Геологи исходили эти горы: то и дело попадаются шурфы, перечеркивающие сверху донизу их пологие склоны. Но археологами горы эти, мне думается, полностью еще не освоены; неожиданные находки следов деятельности человека говорят о том, что Султануиздаг может еще рассказать о многом удивительном.

Я начал с гор, так как они представляют собой нечто непривычное, чуждое для этих мест. Однако не горы поглотили все наше внимание. Нам нужны были люди, а люди живут на равнине. Вот ее-то мы и изъездили вдоль и поперек.

Окружающий вас пейзаж на Хорезмской равнине складывается из трех элементов: сочной зелени хлопковых просторов и деревьев, то сбивающихся в кусты в местах жилья, то выстраивающихся шеренгами по границам полей; светло-серого вкрапления глинобитных кишлаков, среди которых мелькают свежей побелкой новые строения; и опрокинутой над всем этим голубизны неба. Издали этот пейзаж, как бы растекающийся по плоскости, прижавшийся к земле, не останавливает на себе любопытного взора. Надо приблизиться к его деталям, чтобы понять всю его скупую прелесть. Здесь каналы то уходят под ветви склоненных над ними старых деревьев, то вырываются на залитые солнцем просторы изумрудных полей, где на хлопковых плантациях группы людей, занятых на прополке, пекут яркими — синими, желтыми, красными — одеждами. На улицах кишлачных поселков солнечные лучи, прорываясь сквозь густую тень листвы, падают бликами на дорогу, на стены домов, на воду арыков. Между кишлаками попадают белесоватые от соли просторы, где на заросших камышом маленьких озерах по вечерам соревнуются необычайно горластые лягушки. Проселочные дороги петляют среди ароматных зарослей джиды.

Чем ближе к людскому жилью, тем больше разнообразия в ландшафте. Средоточие семейной жизни — небольшие дворики

с неизменным развесистым деревом, закрывшим своей тенью хауз — водоем, и суфу — глинобитное возвышение, на котором в знойный полдень лежит какой-нибудь древний дед, неременный элемент этого интерьера. В углу двора дымится очаг летней кухни. Весной такие дворики заполнены белизной цветущих деревьев. И всегда жужжат ребячьими голосами.

Но мы еще будем здесь, в этих двориках, мы познакомимся с их хозяевами, наши беседы будут нескончаемы. А пока мы следуем по хорезмской равнине, как бы с высоты обзвывая ее.

Вся основная часть оазиса, давно и густо заселенная, во всем тяготеет к Амударье, которая, расплескав по ее поверхности свои воды, как бы подчинила все себе. Вы попадаете на окраину оазиса, но непременно ощущаете где-то рядом присутствие великой реки. О ней говорят люди; животные издали тянутся к ее пойме, где истари расположены места выпасов; следы древних, пересохших протоков и каналов встречаются на каждом шагу. Жизнь на этом выжженном солнцем треугольнике земли никогда не была возможна без реки.

Но, если разобраться по существу, власть Амударьи только кажущаяся, подлинная же принадлежит людям, которые тысячелетиями укрощали эту своенравную, непостоянную реку и приучили ее работать на себя. Оазис по обе стороны реки — это места искомого орошаемого земледелия. Морщины каналов избороздили старое лицо этой земли. И началось это в глубочайшей древности.

К оазису примыкают обширные зоны древнего орошения. Теперь почти всюду здесь пески. И среди них остатки каналов. Некоторые из них заметны только на аэрофотоснимках. Здесь же остатки полей, крепостей, поселений, где археологи нашей экспедиции извлекают на поверхность то, что пустыня погребла в своих горячих песках.

Сейчас люди правобережья ведут войну с песками, но это уже не оборона от стеной надвигающегося врага, а подлинное наступление. В ряде мест, особенно в районе Турткуля — Вируни, новые каналы, частично идущие по древним руслам, прошли по пескам, а вслед за водой продвигаются на север поля, поселки, сады; среди барханов голубеют озера, образовавшиеся в конце каналов. Наступление идет быстро. Там, где лет пятнадцать назад дымились барханы и полусасыпанные песками дремали тысячелетиями крепостные стены и башни, сейчас кипит новая жизнь. Так создаются зоны нового освоения древних земель.

Мы работали преимущественно в верхней по течению реки части оазиса. В дельту мы не спускались: она интересовала

нас в меньшей степени. В поисках следов древних верований мы исходили прежде всего из этнического состава населения, а дельта, находящаяся в пределах Каракалпакии, заселена была позднейшими по времени пришельцами с севера. На юго-востоке оазиса часть узбекского населения ведет свое происхождение от исконного оседлого населения домусульманского Хорезма.

В целом Хорезм привлек наше внимание благодаря своей тысячелетней истории, начало которой надо искать на самых ранних этапах развития человеческого общества. Казалось заманчивым и, как мы полагали, перспективным применить этнографические методы исследования прошлого там, где уже так много сделано археологами.

Археологи Хорезмской экспедиции, созданной и руководимой С. П. Толстовым, в результате нескольких десятилетий полевых исследований доказали, что Южное и Восточное Приаралье изобилует памятниками человеческой культуры, начиная со стоянок охотников и рыболовов нового каменного века (неолит). Особенно богато представлены сохранные пустыней крепости и поселения античного (рабовладельческого) и средневекового Хорезма.

В современной культурной зоне, местах непрерывной деятельности человека, на землях обжитых, много раз перепланированных и переустроенных, такие памятники представлены, естественно, значительно более скупо.

Но и здесь в самых различных местах оазиса мы на своем пути не раз наталкивались на следы прошлого, начиная с эпохи античности.

На юге, в районе сбросовых озер, нас укрывали от палящих лучей солнца великолепно сохранившиеся стены крепости Каладжик, современницы Александра Македонского.

Нашему кочевому отряду принадлежит честь открытия в солончаках около Хивы ранее неизвестной археологам античной крепости Топрак-кала с необычной планировкой, лишенной угловых башен.

В кишлаке Арабхона старик со страшным прозвищем Шайтан, добродушный и остроумный, показал нам незасеянный участок земли около крайнего дома селения; рыхлая почва его изобиловала крупными фрагментами кувшинов и фляг двухтысячелетней давности.

Со средневековым Хорезмом мы встречались чаще. Я уже не говорю о развалинах двух разновременных столиц Хорезмского государства. У развалин Кята на правом берегу, некогда смытого Амударьей, мы жили довольно долго. С городища

Таш-кала около Куны-Ургенча, где шумел знаменитый Гургандж, один из богатейших культурных и торговых центров Средней Азии, разрушенный полчищами Чингис-хана, начинались все наши маршруты, так как на городище в те годы располагалась база нашей экспедиции.

Блестящая эпоха хорезмшахов, власть которых одно время распространялась на большую часть Средней Азии, представлена в оазисе и более мелкими крепостями, встречавшимися нам на пути. Это Абумуслим-кала у подножия Каратау, Алтын-кала в районе Шавата на берегу ныне пересохшего протока Даудан, Ширим-кала близ урочища Мискин и многие другие.

Наиболее выразительным памятником позднего средневековья является Хива, вся целиком. Опооясывающие ее крепостные стены со старинными кладбищами у их подошвы, голубые купола и минареты, высокие порталы арки медресе, айваны на резных колоннах и узкие улочки — все здесь хранит до наших дней неповторимый колорит восточного феодального города. Начиная с XVII столетия и до дней революции все исторические события, происходившие в Хорезме, связаны с Хивой.

Каждый год мы посещали Хиву. Память хивинских стариков неисчерпаема, здесь с полной уверенностью можно было рассчитывать на обстоятельную информацию, справку, совет в работе.

Мне этот город чем-то очень близок и дорог. Быть может, воспоминаниями молодости. Я узнал Хиву давно, в 1932 году, когда мы, этнографы из Самарканда, довольно долго жили в ней. Кроме этнографических материалов мы собирали данные о революционных событиях в ханстве.

В то время по улицам Хивы бродило еще немало бывших министров буржуазных правительств, существовавших после свержения хана. С этими министрами, людьми весьма почтенного возраста, мы тогда перезнакомились и немало с ними беседовали, сидя во дворе музея на колоссальной деревянной кровати хана Асфендиара под ее нелепым балдахином. Премьер-министр, маленький, сухонький старичок в голубой чалме, министры, члены разных правительств, свергавших друг друга, пили чай и переругивались, вспоминая свои «дворцовые перевороты». Балдахин над нами был увенчан медальоном с букетом роз — точной копией рисунка на выпускавшихся в революционное время обертках туалетного мыла.

С тех пор Хива во многом стала иной, но с неизменным волнением я возвращаюсь к ней и брожу по ее улицам.

Помимо Хивы мы часто бывали в Хазараспе, городе с тысячелетней историей. Его живописная крепость, возникшая, по определению археологов, еще в первые века до нашей эры, густо заселена и в наши дни.

Обилие памятников исторического прошлого, восходящих к самым ранним этапам жизни человеческого общества и делающих Хорезм и его окрестности буквально «золотой жилой» для археологов, позволяло предполагать, что и этнографическое исследование этого края может быть весьма перспективно. Это в немалой степени повлияло на выбор нами территории для полевых работ.

В свое время еще известный востоковед В. В. Бартольд писал: «Мусульманский Хорезм отнюдь не жил изолированной жизнью и имел тесные торговые сношения с другими странами; но в окруженном пустынями Хорезме, как в окруженной морями Англии, вся жизнь носила своеобразный уклад и даже заимствованные извне черты обнаруживали особую живучесть». Он был прав. Уже первые годы работы показали, что Хорезм — настоящий заповедник не только археологических, но и этнографических памятников прошлого.

У читателя может создаться впечатление, что наши многолетние поездки по Хорезму представляли собой нечто напоминающее благополучные туристские вояжи. Ведь у нас надежная машина, у нас все, что необходимо для путешествия, нас всюду встречают с распростертыми объятиями! Да были ли у нас какие-либо трудности в пути и в работе?

Да, трудности были, и отнюдь не малые. Многие из них связаны с тем, что слагает географические особенности этого края. Это прежде всего резко континентальный климат. В июне — июле уже перед полуднем мы сникали от жары, а в октябре нередко, выйдя утром из палатки, жмурились от покрывшей кругом все изморози и умывались ледяной водой. В этих местах два вида летней жары. В культурной зоне, в гуще каналов, озер и болот, в разгар лета жара влажная и душная, воздух густой струей втекает в легкие, а в пустыне она сухая и раскаленная; от первой ты «размокаешь» и лежишь, тяжело дыша, уподобившись перекишему тесту, вторая сжигает твоё тело до костей, да и они, кажется, уже дымятся.

Летом дожди здесь выпадают крайне редко. Сельский хозяин на них никогда не рассчитывает и ориентируется только на искусственный полив. Но при общем ничтожном количестве осадков весной на вашу бедную голову обрушивается иногда такой ливень, с которым могут соперничать только ливни

Черноморского побережья Кавказа. Происходит это неожиданно и быстро; впечатление такое, что кто-то там, наверху, случайно опрокинул ногой гигантское ведро с водой.

Помню, как в пустыне Кызылкум в одно чудесное весеннее утро по безбрежной голубизне неба долго ходило туда и сюда ничтожное облачко с темной «начинкой». Мы тотчас о нем забыли, но оно выбирало момент, чтобы застать нас врасплох.

Вдруг мы услышали какой-то шум, непонятный для пустынных условий. Он приближался с севера. В следующий момент водопад, хлынувший с неба, прибил нас к земле. А кругом все было освещено солнцем. Водная пантомима продолжалась минут десять; за это время наш лагерь, стоявший на такыре, оказался в центре озера; из кухни, вырытой в земле, вычерпали сто пятьдесят ведер воды.

Когда мы работали весной, такие ливни не раз путали наш график. На машине ездить еще было можно, ходить же, влача на ногах пуды лессовой грязи, было трудно.

А сколько неприятностей доставляли нам песчаные бури, те бури, о которых в Москве мы слышим по радио в прогнозах погоды. Бушевали они в пустыне, но отголоски их, весьма ощутимые, доносились и в культурную зону.

Не баловали нас и дороги Хорезма тех лет. Время асфальтированных шоссе наступило позднее, и нам пришлось еще испытать все «прелести» бездорожья. Часто и подолгу находясь в пути, мы во многом зависели от характера дорог — не удивительно, что они так отчетливо запомнились мне.

На дорогах Хорезма машина уподоблялась иногда кораблю в волнах океана; мы познали на практике, что такое бортовая и килевая качка. То и дело наша машина ныряла в яму, забитую мягкой теплой пылью; пыль повисала в воздухе, скрывая от глаз все окружающее; то правая, то левая колея оказывалась глубже, и нас раскачивало из стороны в сторону; и снова машина урча взбиралась на очередной бугор, и снова падала вниз.

От частой езды машин особенно были разбиты дороги между основными населенными пунктами. На проселочных было лучше. Здесь юркие колхозные деды-поливальщики, бородастые, в трусиках, стоя по колено в арыке, черпали и выливали воду на дорогу, пытаясь тем самым уплотнить грунт дорог и хотя бы немного предохранить от клубов пыли соседние участки хлопка. Хорезмская лессовая пыль легкая, мягкая, долго не оседающая. В безветренные вечера по облаку стоящей в воздухе пыли можно догадаться, что минут двадцать тому назад здесь прошла машина.

Разбитые машинами дороги мстят транспорту, стремясь в свою очередь разбить, изломать все, что по ним ездит. Иногда сзади к вам приближается какофония звуков какого-то невероятного джаза, и, дребезжа всеми своими разболтанными составными частями, вас догоняет и опережает грузовик этих мест. Свои молодые годы он провел в героической борьбе с бездорожьем, но, и поседевший от пыли и облесшей краски, весь в морщинах, ревматически скрипя суставами, он не теряет бодрости. Шоферы на таких ветеранах особенно лихи: обогнав вашу степенную машину, они не забывают помахать на прощанье.

Дороги Хорезма... Куда только они нас не заводили! Однажды они привели нас в горы Султануиздаг. Все началось с беседы в Бии-Базаре с одним очень старым дедом, который разбередил наше воображение, рассказав, что в глубине гор есть святилище Зийнали-булак с родником в подземелье и там же, несколько южнее, в Фирюзатау, древние разработки бирюзы.

Мы ехали почти наобум: горы безлюдны, спросить было не у кого. Кое-какие ориентиры дед нам дал, но мы, конечно, заблудились в горах, свернув с дороги, выходящей к северным предгорьям, и поехали без дорог. Вы представляете себе, что значит ехать без дорог по горам, среди скал и каменных россыпей? Я ждал момента, когда закипит мотор или «взорвется» наш водитель. Зная, что шофер способен на это и «взрыв» был бы вполне оправдан, я поразился, когда этого не произошло. Мотор тоже не подвел, и мы неожиданно оказались там, куда ехали.

Небольшая котловина была вся изрыта гротами: когда-то здесь добывали тальк. У мест выработок были остатки маленьких строений, лежали черепки средневековой керамики; в заложном шурфе я нашел ручную мельницу для размолки породы. Нашли мы и святилище. Через год, когда я вновь посетил Зийнали-булак, здесь кипела жизнь, работала поисковая партия.

Некоторые дороги промелькнули так, что воспоминания о них едва остались в памяти, другие же запомнились навсегда. Такова, например, магистраль, связывающая Хиву через Янгиарык и Багат с Хазараспом. Она тянется вдоль южной окраины оазиса и (всего-то несколько часов пути) ничем, казалось бы, не примечательна. Те же, что и везде, хлопковые поля, старые деревья по сторонам, редкие кишлаки. Но как она запомнилась! И не потому, что мы неоднократно ездили по ней.

Нет, дело в том, что на всем ее протяжении вы чувствуете где-то рядом жаркое соседство пустыни Каракумы; пустыня близка, она дышит на вас зноем. Изредка в разрывах зелени ее можно увидеть: как море с четкой линией горизонта, тянется она светлой полосой, строгая и необъятная.

А может быть, запомнилась эта дорога потому, что когда-то, в далекой юности, мне пришлось проехать по ней, и при обстоятельствах не совсем обычных. Это было в 1932 году. Наш маленький отряд этнографов из Самарканда — всего четыре человека, в том числе одна девушка, — работал в Хорезме. Остановились в поселке Ханки. Согласовывая дальнейший маршрут с представителями местных властей, мы тогда никак не могли понять, почему нам в почти категорической форме не рекомендуют выезжать на дорогу Хива — Хазарасп, хотя это сокращало путь и время. Ссылались на подпочвенные воды, которые якобы в тех местах выступают наружу. Однако «подпочвенные воды» звучали столь выразительно, что мы догадались, в чем здесь подоплека.

Год был тяжелый. В песках Каракумы обосновались остатки басмаческих банд Джунаид-хана. Незадолго до нашей поездки в районе Питняка был вырезан отряд гидрологов. И все же случай столкнул нас с «подпочвенными водами».

Через два дня, узнав, что где-то к югу от Ханки у могилы святого Шейха Мухтара происходит ежегодный сайль — праздник, на которое съезжается пол-Хорезма, мы погрузились на арбу вместе с выезжавшими на сайль комсомольцами-артистами и двинулись в путь.

Когда-нибудь я расскажу об этом шумном ночном празднике на кладбище около мавзолея святого, о сотнях людей, съехавшихся сюда, о пылающих кострах и факелах, при свете которых молодые парни исполняли проникнутые какой-то древней эротикой необычные танцы, о подземных залах мавзолея, где горели сотни светильников и в маленьких кельях в мерцании светотени ярко алели, желтели и переливались одежды женщин. Это было как сон.

Настоящий сон пришел под утро у чьего-то костра, когда мы забылись в дремоте, мучимые комарами, пока заботливая рука не закрыла с головой всю нашу «комплексную экспедицию» огромной тяжелой кошмой.

Утром кто-то убедил нас, что ближе добраться до Хазараспа, чем ехать обратно в Ханки, а оттуда в Хазарасп. И мы поехали. О том, что мы следуем по дороге с «подпочвенными водами», мы поняли уже далеко в пути. Решили не возвращаться.

Все наши странствия по Хорезму в тот год мы совершали на арбе, знаменитой хивинской арбе — скрипучей и шаткой, с колоссальными колесами, сколоченными из деревянных брусков.

Сейчас я не узнаю этой дороги. По обеим ее сторонам раскинулись колхозные поля, сады, белеют новенькие поселки, обработан каждый клочок земли. А тогда мы ехали мимо сплошных болот, заросших камышом, мимо воды, подходившей к самой дороге. Все кругом кишело дичью: гоготали утки и гуси, стаи птиц поднимались с воды.

Вскоре мы заметили первые признаки «подпочвенных вод». То справа, то слева вдаль возникали фигуры вооруженных всадников. В халатах и меховых шапках они то появлялись, то исчезали, держа путь в ту же сторону, что и мы. К нам они не приближались. Стало как-то не по себе. Единственным оружием у нас был штатив фотоаппарата.

Около двух часов дня мы достигли Багата. Сейчас Багат понемногу перерастает в поселок; у него есть даже свои «Черемушки». А в 1932 году это был небольшой кишлак, окруженный высокой глинобитной стеной с запиравшимися на ночь воротами. У ворот в чайхане мы и расположились позавтракать. Чайхана была полна угрюмых, странно молчаливых мужчин. Кое-кто искоса поглядывал на нас. Потом опять была дорога. В Хазарасп приехали поздней ночью и устроились в школе. Утром, еще до начала работы, я ожидал начальство, сидя на скамейке около открытого окна. Вдруг до моего сознания дошли слова, которые в комнате выкрикивал чей-то молодой голос, передавая телефонограмму, очевидно в центр области: «Вчера в четырнадцать тридцать Багат был захвачен басмачами...»

Как мы проскочили, почему басмачи не задержали нас — это до сих пор мне непонятно. Наверное, уж слишком безобидно и беспомощно выглядела наша юная «комплексная экспедиция».

Судите сами, можно ли не вспоминать все это, когда сейчас проносишься на машине по шоссе Хива — Хазарасп?

Выводили нас пути-дороги и за пределы культурной зоны, туда, где к последним зеленым участкам подступала пустыня, упрямо тянущая свои белесые щупальца движущихся песков к границе оазиса.

Так попали мы в Наринджан на правом берегу реки, в места, где уже несколько сот лет назад, после нашествия Чингис-хана, лишившего округу воды, пустыня расправилась с большим средневековым городом, от которого сохранились

лишь редкие остатки стен и россыпь черепков керамики. Жизнь здесь теплилась около усыпальницы святого Абдуллы Наринджани. На поверхности торчал только купол мазара, все здание было засыпано песком.

Мы еще застали здесь несколько шейхов, хранителей гробницы, и их семьи. Иногда приезжали сюда паломники.

Есть здесь колодец. Вода в нем солоноватая, и, кроме того, она считается священной. Это создает массу трудностей для шейхов, которым надо ведь и чай вскипятить, и шурпу сварить, и хоть изредка помыть свои благочестивые лики. Поэтому, предоставив священный колодец паломникам, шейхи закупили в Турткуле двадцатилитровые бидоны и ездят за водой на ишаках в соседний колхоз.

Здесь постоянно дуют северо-восточные ветры. Мазар с подветренной стороны прикрыт огромным барханом; бархан все растет. Бороться с ним нелегко, да и шейхи — народ, отнюдь не приспособленный к физическому труду. Зато весьма «сообразительный»: они привлекли к борьбе с песками паломниц, вооружив их кетменями и лопатами. Все это считается богоугодным делом. Подъезжая к Наринджану, уже издали видишь, как дымится бархан и трудятся, кстати без особого энтузиазма, женщины-паломницы.

Дороги Хорезма... Но мне вовсе не хотелось, чтобы у читателя создалось впечатление, что мы только и делали, что разъезжали на машине, боясь спустить ногу с ее подножки. Нет, нам много приходилось ходить пешком. Так было во время стационарных работ.

В те годы компактные поселки только еще начинали создаваться. Старое, традиционное расселение отдельными хуторами преобладало. Чтобы добраться до нужного нам хаули — усадьбы, напоминающей маленькую крепость, приходилось преодолевать немалые расстояния, идти и проселочными дорогами, и тропами через хлопковые поля. Всюду нас подкарауливали арыки. Вдоль больших надо было долго ходить в поисках мостика, через другие можно было перепрыгнуть. Непривычные к спортивным рекордам, мы подолгу топтались на месте, набирая дыхание для прыжка и с завистью наблюдая, как местные старики, подобрав полы халатов, легко и изящно, как балетные танцовщики, перепархивают на другой берег арыка.

Очень много мы бродили по кладбищам, петляя между надгробными сооружениями и проваливаясь в могилы. Но эта увлекательная кладбищенская эпопея у нас еще впереди, и я не буду предвосхищать события.

Немало было мест, где наша машина либо по своим габаритам, либо по иным причинам пройти не могла. Однако все-таки большую часть территории оазиса мы извездили на колесах.

Но где бы мы ни были, какими бы дорогами ни ехали, все пути вели нас к людям, без которых наше пребывание в Хорезме не имело бы смысла. О людях Хорезма, наших хозяевах, собеседниках, друзьях, столь разных по возрасту, положению, характеру, но схожих в неизменном гостеприимстве и доброжелательности к нам, об этом главном источнике наших познаний о крае, я сейчас ничего не скажу; эти люди появятся на дальнейших страницах моих очерков.

Скажу немного о нас самих. В течение восьми лет наших полевых исследований в оазисе мой отряд работал почти в одном и том же составе. Нас всегда было немного — пять, иногда шесть человек: двое в кабине, трое или четверо в кузове под тентом.

На мне лежала ответственность за весь отряд и за успех в работе. В последнем я никогда не сомневался. С первого же года полевых работ стало ясно, что Хорезм щедро вознаграждает наши старания. Кроме того, я хорошо знал моих спутников: это были люди активные, энтузиасты своего дела, дружные и привычные ко всяким трудностям.

Основную собирательскую работу со мной делила Гульнур Сулеймановна, или Гульнур-апа, как все ее называли и как в дальнейшем буду называть ее я, моя правая рука в отряде. Я знал ее еще в наши молодые годы, когда мы вместе работали в Самарканде. Начав вторично свои странствия по Хорезму в пятидесятых годах, я отыскал ее в Ташкенте, и она в течение четырех сезонов работала с нами, приезжая в назначенное время и место, отрываясь от семьи и деля с нами трудности кочевой жизни.

Гульнур-апа была красива и обаятельна. В ее потертом чемоданчике всегда таилось какое-нибудь эффектное платье. К походной жизни с постоянными переездами, с ночевками в пути, с раскладушками и спальными мешками, с обедами, наспех сваренными на паяльной лампе, она в общем-то не была приспособлена, но как-то привыкла. Она научилась даже залезать в спальный мешок. Единственное, что ее угнетало, — это дорожная пыль, въедавшаяся в кожу лица.

Собирателем Гульнур-апа была феноменальным. Я никогда не мог постичь секрета ее потрясающей популярности у наших информаторов — женщин и мужчин, старых и молодых. Стоило ей присесть где-нибудь около дома, в саду, поле, на ба-

заре, переправе, наконец, на кладбище, как она тотчас же оказывалась окруженной людьми; начиналась беседа, и страницы полевого дневника заполнялись неровными частыми строчками.

Другой постоянный участник наших поездок — архитектор Стеблюк, коренастый, могучий блондин, — большую часть времени молчал. Работал он быстро и увлеченно; в среде этнографов, с которыми он немало ездил в поле, его рисунки и чертежи котируются очень высоко. Стеблюк занимался архитектурой местных культовых сооружений; почти каждая его поездка в нашем отряде завершалась интересной научной публикацией. В Стеблюке таилась бездна талантов: он писал стихи, за один сезон научился говорить по-узбекски, местных женщин он навсегда покорила исполнением старинных узбекских танцев.

С меланхоличным Садреддином, длинным и худым, мы случайно познакомились в горах Джумуртау. В следующем сезоне он присоединился к нашему отряду, страхуя меня в несовершенном знании языка. Учитель по профессии, он был величайший пессимист. Единственной страстью его была рыбная ловля; где бы мы ни останавливались, он тотчас бросался искать канал, озеро или какую-нибудь лужу.

В 1956 году с моим отрядом ездили Нина Петровна и Рюрик Садоков. То был «месяц длинного маршрута», когда мы пересекли весь оазис от Куны-Ургенча до Хазараспа по левому берегу Амударьи и вернулись «на низы», в Нукус, по правому.

Нина Петровна изучала свадебную обрядность и специфические женские поверья. Около мазара Султан-бобо она под руководством шаманки, подвизавшейся среди паломниц, самоотверженно испытала на себе все сложности магических церемоний, к которым прибегают женщины, не имеющие детей. Ради науки она с головы до пят вывалилась в пыли и песке, старательно пролезая в щели между большими валунами и через отверстия земляных ям; весь вечер она записывала свои захватывающие впечатления.

Обладатель тонкого музыкального слуха и вкуса, Рюрик Садоков поставил перед собой задачу проникнуть к истокам музыкальной культуры Хорезма, используя археологические и этнографические данные. На протяжении всего маршрута он устанавливал контакты с народными музыкантами. Ровный и веселый характер делал его отличным спутником.

У Нины был сильный и красивый голос; Рюрик возил с собой аккордеон. Когда местные маскаробозы (скоморохи) и

музыканты показывали нам свое искусство, они давали им ответный концерт.

Восемь раз выезжал на полевые работы с нашим отрядом шофер Иван Петрович. Изъездивший с археологами Каракумы и Кызылкум, великолепно ориентирующийся в пустыне, он и культурную зону Хорезма знал лучше других шоферов. Память его была поразительна; я не запомнил случая, чтобы хоть раз за все эти годы он сбился с пути. Машину он знал и водил великолепно.

Мрачноватый и суровый с виду, чему он был обязан главным образом оттопыренной нижней губе, наш «железный» водитель умел по-детски смеяться, и тогда у него появлялся высокий тенорок. Мы много работали вместе, и я всегда с благодарностью вспоминаю этого водителя и чудесного товарища.

Почти всегда выезжала с нами Галя, веселая татарочка из Куны-Ургенча. Она вела все наше хозяйство, освободив нас от забот о хлебе насущном. Она приспособливалась к любым условиям, могла за полчаса приготовить обед и утром и в полночь, под палящим солнцем и в пыльную бурю, прикрывая собой кастрюлю с неизменными макаронами.

Я был бы крайне несправедлив, если бы не упомянул еще об одной постоянной нашей спутнице. Я говорю о нашей машине ГАЗ-63.

Ее звали МУ. Буквенное дополнение ее московского номера стало ее собственным именем. Когда отряд въезжал в знакомое селение, ребятишки восторженно вопили: «Му кельди!» (Му прибыла). Они знали, что приехавшие засядут за бесконечные разговоры с их бабками и дедами, а МУ, приткнувшись где-нибудь под деревом, будет в полном их распоряжении, за исключением одной лишь кабины, которую «железный» водитель оберегал от их вторжения.

Машина была нашей заботливой нянькой. Она неслась сломя голову за тридевять земель и привозила в отряд хлеб и картошку, когда наши продукты подходили к концу. Как цыплята к наседке, мы жались к ней со своими раскладушками, когда ночь заставляла нас в пути. И если в такие ночи на нас, безмятежно спящих под открытым небом, неожиданно обрушивался ливень, мы кидались под тент и спали в ее теплой утробе.

Она, конечно, уставала, но, как терпеливая мать, никогда не показывала виду. Только иногда, когда жара достигала на солнце пятидесяти — шестидесяти градусов, а ей надо было бежать и бежать, наша добрая МУ вскипала и ворчала на нас

своим радиатором. Чаще же Иван Петрович предугадывал, когда может случиться такая вспышка гнева, останавливал машину и давал ей возможность прийти в себя.

Вот и весь состав нашего отряда. Мы, кажется, все в сборе. Наше экспедиционное имущество погружено. МУ, до отвала напоенная бензином, готова в любую минуту тронуться. В кабине Гульнур-апа уже замотала лицо шарфом от пыли; мы под тентом бодро обминаем свои места на шоферском ящике. «Железный» водитель нажал на стартер. Мотор взревел, в кузове брякнули ведра и канистры. Мы тронулись. Впереди длинные дороги Хорезма.



Приступая к своим этнографическим поискам в области религиозного мировоззрения, мы, естественно, не надеялись на быстрый успех. На первых порах далеко не просто было прямыми либо косвенными путями пробиться к интересующим нас вопросам. Повседневные интересы людей, с которыми мы имели дело, без различия пола и возраста были далеки от того, что было целью наших поисков: весь Хорезм жил сегодняшним и завтрашним днем; возвращаться в прошлое, в мир ложных представлений и нелепых обрядов, охотников было не так уж много. Даже тот, кто втайне сохранял свою веру, во всем остальном был вполне современным человеком и, естественно, стыдился об этом говорить. Пережитки, оставшиеся от прошлого, оказались глубоко запрятанными в недрах семейного быта, и надо было долго и тщательно подбирать «ключи», чтобы проникнуть в эту труднодоступную область сознания. На это уходило немало времени.

Только после того как с людьми устанавливались прочные дружеские контакты и мы переставали чувствовать себя чужими в их семейном кругу, после того как наши собеседники полностью уясняли себе суть наших задач, только тогда можно было приступать к самым щепетильным вопросам мировоззрения людей.

Легенды и предания, смутные силуэты мифических образов, фрагменты обрядов, уже почти утративших былой смысл,— все это было лишено целостности, представляло собой на первый взгляд довольно хаотичный поток отрывочных сведений.

Но это меня мало беспокоило. По опыту я знал, что в процессе накопления массового материала наступит момент, когда все встанет на свои места, отдельные разрозненные факты сольются в цельные, четко оформленные комплексы, возникнет необходимая стройность в нашем понимании явлений.

Мы ничем не пренебрегали. Все, чем делились с нами люди, ложилось на страницы полевых дневников. Довольно скучные

рассказы о догмах официальной религии — ислама — перемежались с совершенно уникальными данными о реликтах древнейших верований, причудливым ходом истории донесенных до наших дней; мифические герои в рассказах людей соседствовали с исторически достоверными лицами; бесчисленные святые совершали самые невероятные чудеса; целая серия магических приемов сопровождала семейные церемонии. Все это в рассказах наших собеседников переплеталось в пестрый, причудливый узел.

Как это ни удивительно, раньше всего и полнее связались в единое целое те отрывочные сведения, которые характеризовали местную демонологию, представления о сверхъестественных существах, населяющих якобы окружающий мир, в большинстве своем враждебных человеку.

Я уже не помню, когда здесь, в Хорезме, и кто именно первый приоткрыл нам дверь в этот загадочный мир духов. Приоткрыл, а уж потом мы сами со свойственной этнографам настойчивостью протиснулись в нее и обосновались среди духов, установив с ними приятельские отношения.

Быть может, начало было положено курьезным и вместе с тем героическим эпизодом, о котором я вспоминаю с восхищением.

Это случилось в одном из кишлаков около Гурлена. День был хмурый и ветреный. Я сидел за селением у дороги, поджидая своего спутника, и нервничал: время шло, а так мало еще было сделано.

От мрачных раздумий меня отвлекли крики. Вдоль дороги медленно двигался небольшой пыльный смерч, а за ним неслась орава страшно возбужденных мальчишек дошкольного возраста. С криками и визгом, размахивая руками, падая и поднимаясь, они на бегу хватали камни и комья глины и с остервенением бросали их в смерч.

Их предводителем был мальчишка на голову меньше остальных, чумазый и босой, в маечке и широченных штанах. Он яростно кидался на врага, а когда не успевал поднять с земли камень, то с ожесточением швырял в смерч свою видавшую виды тубетейку.

Наконец сопротивление неприятеля было сломлено, смерч изменил направление и рассеялся над арыком. Утомленные бойцы оживленно комментировали все обстоятельства сражения. Установить с ними контакт было нетрудно, но брать интервью у чумазого предводителя оказалось делом безнадежным: военачальник не обладал еще достаточно внятной человеческой речью. Выручили другие мальчишки, постарше.

«Там джиин! Там джиин!», — кричали они мне в уши, дергая за рукава, и делали страшные глаза.

Джиин! Как же это сразу не пришло мне в голову! Во всей Средней Азии известно поверье, что в пыльном столбе заключен злой дух и если смерч обрушится на человека, то у последнего отнимется язык. А если в смерч бросить нож, то на лезвии его останется капля крови.

Но каковы мальчишки?! Эти бесстрашные джигиты решились собственными силами расправиться со злым духом. И это несмотря на все страшные слова, которые им нашептывали бабки. Поистине боевое растет поколение!

Смерч, за которым гонялись гурленские ребята, был всего лишь жиденский столб дорожной пыли. Такой смерч может только запорошить глаза или стащить просыхающую на солнце пеленку. Но среднеазиатский смерч может быть весьма внушительным явлением.

Приходилось ли вам в ветреный день, вглядываясь в безбрежные просторы пустынь Кызылкум и Каракумы, видеть, как у горизонта разгуливают здешние смерчи? Это уже совсем другое дело. Их радиус достигает у земли нескольких метров, они поднимают в воздух не только пыль с такыров, но и песок и всевозможный мусор; они кажутся плотными на ощупь, мрачного, сероватого цвета, а вершины их теряются где-то под облаками. Как унылые, чуть сгорбленные вдовы, бродят они по тревожной пустыне.

Я помню, как такой смерч накинудся на палаточный лагерь археологов нашей экспедиции. Люди были на раскопках. Смерч выбрал десятиместную палатку рабочих и учинил там полный разгром. Утром была выдача зарплаты. Смерч яростно выхватывал из-под подушек и одеял положенные туда деньги и разбрасывал их по пустыне. Ребята потом несколько часов собирали их между барханами. Как же не поверить, что такое могла сотворить только злая сила, заключенная в смерче?

Вряд ли случайно вспомнил я о духе, обитающем в пыльном смерче и передвигающем его по степным просторам. Такое представление, сохранившееся от самых древних периодов в истории человечества, пожалуй, особенно наглядно отражает ту стадию верований, когда человек, будучи еще в полной зависимости от окружающего его мира, становясь в тупик перед непонятными и пугающими его явлениями природы, наделял их особой сверхъестественной силой.

Суровы, нелегки для жизни человека в глубоком прошлом были природные условия низовьев Амударьи и прилегающей

к ней зоны пустынь. Явления природы в сознании человека, травмированном чувством страха и зависимости от непонятого, воплощались в образы сверхъестественных существ, на каждом шагу угрожавших жизни людей и их благополучию. В пустынях злобные демоны обрушивались песчаными ураганами или, теша взоры соблазнительными миражами, уводили людей в глубь барханов, где они погибали от жажды. Среди озер и болотистых топей, некогда обильных в дельте, в густых тугайных зарослях, где водились хищные звери, эти злобные духи грозили гибелью охотникам и пастухам. На Амударье духи подводных течений разбивали в щепки суденышки рыбаков. В горных ущельях разыгравшиеся демоны сносили кишлаки селевыми потоками. Они совершали набеги на поселения людей и «выкашивали» их жителей страшными эпидемиями. Они воплощались в пресмыкающихся и ядовитых насекомых, которыми столь обильно Приаралье.

Стоит ли удивляться, что мир враждебных духов в этих местах был представлен столь разнообразными и колоритными персонажами. Со временем число их значительно сократилось, а сами духи утратили былую четкую связь с явлениями природы.

И тем не менее вера в них, правда в стертых формах, еще продолжала жить. С различными образами этого странного мира наше знакомство с помощью информаторов устанавливалось постепенно и при самых разнообразных обстоятельствах, иногда чисто случайно. О некоторых из них я слышал уже давно. К ним относятся, например, дэвы.

Каждый, кто читал увлекательные восточные сказки, помнит, наверное, этих колоссальных духов, обладающих неимоверной силой, не слишком зловредных и способных даже служить человеку.

Дэвы Хорезма мало от них отличались. Впервые я познакомился с ними на берегах Амударьи, в Кипчаке.

Кипчак — единственный крупный кишлак оазиса, расположенный непосредственно у реки на ее левом берегу. Как-то даже необычно: сидишь около дома твоих знакомых, и прямо перед тобой, внизу, водный простор; чувствуешь себя как в каком-нибудь волжском городке. Правда, Амударья здесь не широка и особенно заметно, как стремительно ее течение.

Здесь я и познакомился с Ходжи Мулюком, одним из представителей племени дэвов.

Вряд ли случайно мое знакомство с дэвами произошло именно в этих местах. На правом берегу цепью невысоких холмов начинается горный хребет Султануиздаг, нависающий над

речной поймой кряжем Каратау и тянущийся далее на северо-восток. Горы — это стихия дэвов. Дэвы бродят по ущельям, устраивают сборища в пещерах; когда они веселятся, — огромные камни летят в долину. Но дэвы далеко не бездельники. Как гласят легенды, это они некогда научили людей разным ремеслам. И прежде всего дэвы — строители. В Хорезме немало городов и крепостей, возведение которых приписывают дэвам.

— Вот посмотрите туда, на Чилпык, — сказал мой кипчакский собеседник, когда мы после сытного обеда, умиротворенные, сидели у ворот его дома. Он указал на противоположный берег реки: — там трудился дэв Ходжи Мулюк.

Чилпык — огромный искусственный холм конической формы со следами строений на вершине. Археологи считают его некрополем, башней молчания, куда древние жители Хорезма сносили тела своих умерших.

Легенда рассказывает, что строитель этого холма Ходжи Мулюк был весьма благонравный дэв. Он старательно возводил этот холм для людей. Когда он стал месить глину и в своих колоссальных ладонях носил ей пригоршнями на вершину холма, возводя круглую стену, кусочек глины просочился между его пальцами и упал вниз. И до сих пор лежит он у подножия громадной сухой глыбой.

— Чтобы уложиться в плановые сроки, — сказал мой хозяин, — Ходжи Мулюк не уходил на ночь в горы, он и жил здесь, на холме. Когда мы с вами переберемся на ту сторону реки, я покажу вам щель в холме; там в глубине пещера, где спал дэв.

Однако трудолюбивый дэв Ходжи Мулюк мог и напакостить людям. Говорят, это он далеко ниже по течению, в районе горы Ток, пытался перегородить реку плотиной, чтобы отвести воду от возделываемых полей. Однако это ему не удалось.

Дэвов и многих других духов, злых, добрых и равнодушных, перевоспитал и приспособил к полезному труду пророк Сулейман, любимый персонаж среднеазиатских легенд. Сулейман — весьма колоритная личность. Это не кто иной, как царь Соломон библейских легенд, который был заимствован и канонизирован исламом в пору возникновения. Это он носился над грешной землей на своем великолепном троне, влекомом целым сонмом прирученных духов.

Однажды, пролетая над юго-восточной частью Хорезмского оазиса и скучающим взором обозревая расстилавшиеся под ним степи, Сулейман заметил около небольшого родника та-

бун прекрасных коней. Желая завладеть ими, пророк отрядил к роднику двух духов, но они вернулись ни с чем, так как это были крылатые кони. Они мигом снялись с места и скрылись за горизонтом.

Сулейман не оставил мысли поймать коней. Он поручил это дэву Каусу, однако тот заявил, что ни один человек и ни один дух, кроме старого дэва Самандуна, не способен осуществить эту поимку. Но отношения с дэвом Самандуном у пророка были обостренные: тот не подчинялся Сулейману и только ждал удобного случая, чтобы самому стать падишахом мира.

Самандун, дэв колоссальных размеров, пребывал постоянно в земле ниже дна моря; выманить его на поверхность было делом трудным. Пришлось, по совету Кауса, распространить повсеместно ложный слух о том, что Сулейман, владыка вселенной, отправился к праотцам. Маневр подействовал. Слух дошел до Самандуна, и дэв поднялся, отряхиваясь от земли, распрямился и, готовый завладеть властью, направился в ставку Сулеймана. Здесь его схватили, сковали цепями, и он предстал перед Сулейманом. Пророк поручил ему поймать небесных коней. Самандун оказался хитрее всех прочих духов. Он распорядился наполнить вином родник, к которому небесные кони постоянно слетались на водопой; кони опьянели, попадали на землю, дэвы и джинны кинулись к ним и отрубили у них крылья. С тех пор небесные кони стали украшением конюшен Сулеймана. А на месте их поимки возник город, построенный дэвами и носящий название Хазарасп, что на персидском языке означает «тысяча лошадей».

Эта легенда, записанная мною в самом Хазараспе, имеет множество вариантов; она очень популярна в Хорезме. Но главные ее персонажи, дэвы, давно уже исчезли из живого религиозного быта с его обрядами, оберегами и амулетами; они перекочевали в область сказочного фольклора. О дэвах говорят нередко, но всегда лишь в связи с событиями далекого прошлого.

Их судьбу постепенно разделяют и другие мифические существа — страшные драконы аждархо.

Как-то мы сидели с муллой Сейльханом в тени громадного мавзолея Текеша около Куня-Ургенча. Только что с вершины его портала чуть не на наши головы тяжело свалился клубок свившихся змей. Мулла обозлился. Не вставая с места, он бросил в них камнем, плюнул и невнятно выругался: «Ах, подлые дочери аждархо! Чтоб вам без воды засохнуть», — а потом, помолчав, спросил: «Что вам известно об аждархо?»

О страшном огнедышащем драконе я слышал множество рассказов в самых различных местах Средней Азии. В горах восточнее Самарканда я заглядывал в мрачную пещеру, где, по словам людей, затаился аждархо. Среди каракумских барханов мне показывали след дракона, на поверку оказавшийся древним каналом, полусасыпанным песками. В Фергане я сидел у могилы святого Клыч Бурханэдина, некогда сразившегося с драконом и убившего его.

Муллу Сейльхан, от которого я всегда ждал чего-то необычного, судя по всему, готов был начать повествование. Сейльхан был уникальным рассказчиком. Я очень сожалел, что не так уж часто с ним беседовал. Он был очень занятым человеком. В ту пору Сейльхан еще понемногу практиковал: писал дуо — молитвы-амулеты, совершал куф-суф — отчитывания и прочие мелкие «врачебные» манипуляции. Застать его дома было трудновато. Но каждая встреча с ним давала мне очень много ценного. Сейльхан знал поразительные легенды. Я убедился в этом, когда вслед за его рассказами совершал путешествия в такие глубины истории Востока, с которыми могли соперничать только сюжетные истоки «Шахнаме» знаменитого Фирдоуси. К тому же как рассказчик Сейльхан обладал одним чрезвычайно ценным качеством — необычайной пунктуальностью. Он старательно вычислял даты событий, в его легендах не было безымянных персонажей, отдельные части рассказа всегда имели заверченный вид; он подчеркивал некоторые детали, придающие повествованию особую образность.

Не обманул мулла Сейльхан моих ожиданий и на этот раз. Он рассказывал об аждархо, а я, казалось, слышал, как шуршит чешуйчатый хвост огромного дракона, как тяжело втягивает он воздух своей громадной пастью и мерно ступает по земле кривыми лапами. Верный себе, мулла Сейльхан увязал события легенды со временем владычества в Хорезме Махмуда Газневи. Простим ему некоторые исторические несоответствия.

Знаменитого Гурганджа, на развалинах которого мы с муллой сидели, тогда, по его словам, еще не было; столица была в тридцати километрах южнее, там, где сейчас пески.

Много лет Махмуд и его подданные жили в городе, как в осажденной крепости. Все ворота были забаррикадированы, люди за пределы стен почти не выходили. В окрестностях столицы бродили два громадных дракона, самец и самка, обложившие население города страшной данью. Ежедневно на съедение драконам за городские стены уводили молодую

девушку; семьи трепетали, с ужасом ожидая, когда очередь дойдет и до них. И очередь дошла до самого Махмуда Газневи, о чем, рискуя своей жизнью, сообщил правителю его визирь Кулубиджан.

Во избежание гнева народного султан вынужден был покориться, и жребий пал на старшую дочь Махмуда, прекрасную Хурджамал.

— Знаете ли вы мазар святого Аюба? — спросил меня Сейльхан. — Вот сюда и привели воины рыдавшую девушку, связали ее по ногам и рукам и поспешили скорее вернуться в город.

Тут мулла слегка отвлекся, раздумывая над причинами такой слепой покорности чудовищам. «Если бы у тех людей были танки и орудия, все было бы по-другому», — решил он.

Связанную девушку нашли случайно оказавшиеся на кладбище благородные спасители. Это были двое юношей, Хоразм и Хабаши, родом из Абиссинии, странствующие богатыри-палваны. Ее развязали, и Хурджамал рассказала о своей печальной участи. Хоразм расспрашивал об аждархо, о его внешнем виде, величине, чтобы заранее рассчитать свои силы.

— Сама я не видела дракона, — сказала девушка, — но люди говорят, что аждархо длиной три версты, шириной двести шагов и у него очень большой рот.

Услышав это, второй юноша — Хабаши — позорно бежал. А Хоразм остался.

— Если сумею, я убью дракона; если не сумею — не бойтесь, я отдам себя ему на съедение, — успокоил он девушку.

Джигит убил джейрана, зажарил мясо на костре, и они поели. Хурджамал решила остаться с ним. Она с восторгом смотрела на решительного юношу.

— Я долго странствовал, много сражался, — сказал Хоразм. — Я очень устал. Скажите, можно мне ненадолго заснуть, положив голову на ваше колено? Если вы что-нибудь заметите, то сразу разбудите меня.

Он спал два часа. Хурджамал, сидя над ним, не шевелилась. Вдруг крупная слеза упала на лицо юноши, и он проснулся.

— Почему вы плачете? — спросил он.

— Посмотрите туда, — указала она.

Со стороны заката надвигалось чудовище. Дракон приближался, медленно переступая кряжистыми лапами и волоча чешуйчатый хвост, конец которого терялся за дальними барханами. Голова на длинной шее покачивалась, горящие глаза,

как фары, освещали вечернюю степь, в открытую пасть дракон с шумом втягивал воздух.

Мулла Сейльхан так красочно описал аждархо, что я невольно осведомился, не встречал ли уж он сам дракона. Нет, мулла его не видел. Теперь, по его словам, драконы прячутся в подземельях и предпочитают не появляться на поверхности земли. Почему? Боятся. Слишком шумно стало на земле: тракторы грохочут, режут самолеты — опыляют посевы, гудят автомашины. И плохо пахнет бензином, а драконы этого не любят.

Итак, рассказ Сейльхана достиг кульминации. Конечно же, юноша бесстрашно бросился на чудовище и своим мечом рассек ему голову. Дракон завалился на один бок, и Хоразм вырезал из его спины длинную ленту кожи. Потом он схватил девушку за руку, и они побежали к городу. Но в город их не впустили: народ собрался у ворот и забросал их камнями; никто не знал, что дракон уже убит. Им пришлось вернуться назад. Дракон издыхал. Но он успел еще предсказать, что богатырь убьет и второго дракона, что он отыщет сокровища, которые охраняли оба аждархо, и выстроит на этом месте город.

Так и случилось.

— Второй дракон лежал здесь, на этом месте, где мы сидим, — сказал Сейльхан. — Голова его находилась в том месте, где ваша экспедиция откопала основание минарета, а хвост — там, где стоит большой минарет.

Хоразм предъявил Махмуду Газневи отрубленные головы драконов и полосу кожи, их впустили в город, и вскоре состоялась свадьба. Она длилась сорок дней. А потом был выстроен город, получивший название Хургандж, в честь девушки и сокровищницы драконов (гандж).

Хотя мулла Сейльхан и заявил компетентно, что драконы — аждархо — преданы уже окончательному забвению, мне еще не раз приходилось сталкиваться с их живыми следами в памяти людей, причем характер этих чудовищ раскрывался иногда с самых неожиданных сторон.

Недалеко от Янги-Арыка, у дороги на Хиву, среди болота торчат два бугра — совершенно расплывшиеся остатки крепости, именуемой Алма-атышкан. По колено в воде я добрался до одного из бугров и бродил там, собирая фрагменты керамики. Вдруг со стороны кишлака раздался отчаянный вопль. Крик явно адресовался мне. Дородная женщина, стоявшая на дороге у края болота, что-то кричала, размахивая руками. По ее знакам я понял, что мне следует покинуть облюбованный мною бугор. Перебравшись через болото, я выяснил, что был на волосок от гибели. Можно сказать, что я наполовину был

уже в драконьей пасти, из которой меня вытащила эта женщина.

Бугор среди болота был гиблым местом. Моя собеседница поведала мне печальную историю. Однажды три женщины из ее кишлака (я не пытался уточнять, было это в прошлом году или пятьсот лет назад) искали отбившуюся от стада корову и попали на злополучный бугор среди болота. Здесь они увидели глубокую расщелину в земле. Две женщины прошли мимо, а третья, страшно любопытная, заглянула в расщелину и вдруг уронила в нее свои кавши (калоши), которые несла в руке. Калош было жалко, и она полезла в расщелину. Там, под землей, оказалась большая пещера, и женщина с трепетом душевным увидела аждархо, дремавшего в углу. Рядом сидела молодая грустная женщина, похищенная драконом с поверхности земли, эдакая хорезмская Персефона, которая укачивала в колыбели ребенка, плод этого поразительного супружества. Дракон храпел, а его жена шепотом предупредила гостью, чтобы она ни о чем не рассказывала там, на поверхности, насыпала ей полную тюбетейку золота и выпроводила из пещеры. Дома молодуха, конечно, обо всем виденном рассказала и вскоре умерла.

Я рассыпался в благодарностях перед моей спасительницей, а она взяла с меня слово, что я больше не пойду на оплывший бугор в болоте.

Легенды о кровожадных драконах и героях-драконоборцах имели широкое распространение. У самых различных народов мира, начиная от тех, которые совсем недавно расстались с каменной мотыгой, и кончая самыми цивилизованными, включившими миф о Георгии Победоносце в сферу своих религиозных систем. Можно подумать, что весь земной шар некогда кишел драконами. Невольно возникает мысль: не сохранила ли память человечества воспоминания о гигантских ящерах, остатках вымершей фауны, с которыми человечество, возможно, столкнулось на заре своей сознательной жизни?

Все же мулла Сейльхан прав. Подобно дэвам, страшный дракон аждархо теряет былое значение в бытующей демонологии и уходит в сказку.

Этого нельзя сказать в отношении третьей категории среднеазиатских духов — албасты. Знакомство мое с этим отвратительным демоном произошло случайно на старом городище Таш-кала около Куны-Ургенча. Я медленно петлял между валами стен, не замечая, что уже наступил вечер. Я искал черепки поливной керамики. Темнело. Валы городища уходили

к горизонту, где уже багровел закат и на фоне его темнели зубцы стен Хорезмбага — старой ханской усадьбы.

Было безлюдно и тихо, только где-то вдаль, в кишлаке, надрывно ревел ишак. Обходя один из холмов, я чуть не наткнулся на неподвижно стоявшую человеческую фигуру. Это был парень лет двадцати пяти. Он вяло осведомился, что меня здесь заинтересовало. Я объяснил: меня интересуют остатки керамики. Парень прошелся, лениво ковыряя землю носком туфли. Но видимо, я не вдохновил его, он сел около меня и зевнул. Не будучи на этот раз в настроении вести разговоры на традиционные темы и не ожидая найти в лице этого парня ценный источник информации, я задал ему несколько мало-значущих вопросов. В частности, спросил его, женат ли он и сколько у него детей. Он отрицательно помотал головой.

— Мне нельзя жениться, — помолчав, хрипло сказал он и насупился.

А потом я услышал нечто совершенно невероятное. Сначала даже показалось, что меня дурачат, и я не знал, как реагировать на услышанное.

Оказалось, что вот уже три года, как к моему новому знакомому «привязался» дух албасты, который регулярно является к нему по ночам и душит его. Он в полном отчаянии и не знает, что его ждет в дальнейшем. Сказано это было так ровно и спокойно, что мне стало не по себе.

Я подсел к нему поближе, стараясь получше разглядеть его в темноте. Это был самый обыкновенный городской парень, в стандартном рабочем костюме и коричневых туфлях, с тюбетейкой на голове, один из тех, кого постоянно видишь на улицах районных центров, около кино или палаток с газированной водой. Он и был, как оказалось, заведующим складом в торговой сети. Но что-то в его облике меня насторожило, не то глаза, часто смотрящие в одну точку, не то какие-то слишком беспокойные руки.

О своем несчастье он рассказывал очень просто, как человек, давно с ним примирившийся. Да, стоит ему уснуть, как неимоверная тяжесть наваливается на него, давит, не дает дышать; кто-то шевелится, кто-то бормочет в темноте. Он пытается сбросить эту тяжесть, скинуть с себя одеяло, но это не удается. В этой борьбе наступает рассвет. И так повторяется почти каждую ночь. Он замучен и днем засыпает на ходу. Мать клала под подушку Коран, нож, хлебные лепешки — обычные обереги от зла, но ничего не помогает.

Раза два он видел ее — албасты. Однажды он почувствовал вдруг облегчение, сбросил одеяло и сел. Она уходила к две-

рям, маленькая карлица с длинными, до земли, пепельными волосами; с порога она на него оглянулась, глаза ее блестели на темном лице.

Что я мог ему сказать? В подобной ситуации антирелигиозная беседа не имела бы успеха. Я посоветовал ему обратиться к невропатологу. Он безнадежно махнул рукой: его дед и отец с молодых лет злоупотребляли наркотиками, не раз обращались к врачам; их лечили, но они так и умерли наркоманами.

Мне стало жалко его. Передо мной был если не душевнобольной человек, то во всяком случае тяжелый неврастеник, жертва наркомании двух предшествовавших поколений, за которую расплачиваться приходится ему. А албасты? Вероятно, страшные рассказы старух, слышанные им с малых лет, стали навязчивой идеей его больной психики.

Позднее я от многих собеседников слышал об этом духе. Образ албасты во всех рассказах весьма устойчив. Это карлица с длинными волосами, особенно опасна она для рожениц и детей. Но тот же дух может устраивать разгром в амбарах, напугать лошадей и заплести в косички их гривы. Человек, который осмелится выхватить из рта албасты магическую монету, спрятанную у нее под языком, обязательно разбогатеет, если только будет молчать о случившемся. Некоторыми чертами образ албасты напоминает домового славянских народов. Так или иначе, я не жалел, что поместил этого колоритного духа в свою «приходную книгу».

Не повезло жителям Хорезма: представления о самых зловредных и плодovitых духах — джиннах оказались наиболее живучими. Это они якобы облюбовали разрушенные кишлаки и дома, русла пересохших каналов, кладбища и старые амбары. От всех прочих собратьев — духов и чудовищ — они отличаются тем, что не имеют определенного облика. Может, поэтому они так любят принимать облик насекомых, змей, зайцев, уток, черных кошек. Не пытайтесь гоняться за подобным зайцем: убегая, он заманит вас в плохое место и там причинит вам вред (зийн).

По словам стариков, джинны облюбовывают иногда некоторые виды деревьев и кустов. Таковы джида — лох восточный, грецкий орех, шиповник, который так и называется аджина гуль, то есть цветок джинов.

Говорят, что джинны стараются быть как можно ближе к человеческому жилью, чтобы иметь возможность в любой момент вторгнуться со своими каверзами в быт человека. Благодаря этому и все рассказы о джиннах носят бытовой, буднич-

ный характер, в них повествуется не об исключительных событиях, а о повседневном общении людей с этими духами и противоборстве им.

Наши собеседники, одни серьезно, другие посмеиваясь, подавали нам массу советов, как следует обращаться с джиннами. Например, если ваш новый дом уже подведен под крышу, обязательно оставьте в нем кого-нибудь ночевать до окончательного переселения семьи, иначе в доме по-хозяйски разместятся джинны, и потом их, как тараканов, трудно будет вытравить.

Вы работаете на поле и устали, вам хочется отдохнуть, полежать. Не забудьте положить голову на кетмень или на лопату: джинны смертельно боятся железа и не осмелятся приблизиться к вам.

Джинны, как и все вообще духи, должны питаться и страшно прожорливы и неразборчивы в пище. Помню, как всполошилась хозяйка дома, когда на званом обеде я по своей неопытности отбросил в сторону обглоданную кость из плова. Она, правда, деликатно, но все же отчитала меня.

— На кости могли еще быть остатки мяса. А эти негодные джинны, которые сейчас сидят по сторонам и шепчутся, только и ждут, чтобы кинуться на какую-нибудь еду, — просвещала меня старуха.

Очень опасно наткнуться на сборище джинов, когда они своей компанией справляют свадьбы в каком-нибудь укромном месте. Приняв человеческий вид, джинны в таком случае непременно втянут прохожего в свое буйное веселье и доведут его до помешательства.

В быту существовало множество мелких обрядов, амулетов и прочих оберегов, чтобы обезопасить людей от козней джинов. Однако наиболее эффективно противостоять этим коварным духам могли лишь люди, обладавшие особой сакральной силой, — шаманы и святые — чудотворцы.

Вспоминается одно повествование. Во время странствий по Хорезму мне нередко приходилось бывать в Хиве, бывшей столице ханства. И всякий раз, проходя мимо старого ханского дворца Таш-хаули по узкой улочке, которую постоянно накрывает тень от его высокой кирпичной стены, я всегда поглядывал ввысь, вспоминая, наверное, о здешнем старом джине. История такова. Когда-то во дворце обосновалось многочисленное семейство джинов, неведомо откуда сюда переселившихся. Были там и старые джинны, и молодые, и маленькие. Все семейство вело себя крайне недисциплинированно и буквально терроризировало население дворца. В почтенных са-

новников летели комья глины, в темных углах вспыхивали таинственные огни, пугая часовых, а джинята заползали даже в покои ханских жен и, разыгравшись, творили там нечто невозможное. Жены предъявили хану ультиматум, пообещав лишить его своей благосклонности, если он не наведет порядка. Пришлось срочно вызвать святого Зохир-ходжу. Тот долго не церемонился: он предложил джиннам наутро собраться всем у ворот дворца и, прочтя им нотацію, приказал тотчас же отправляться к себе в северные холодные пески, откуда, как известно, джинны перекочевывают в оазис.

Однако джинны вполне резонно заявили, что в это летнее время года они не смогут переправиться через Амударью. Святой ответил, что это не их забота, и погнал всю стаю джинов по дороге к Ургенчу и далее к реке. Он торопился и покрикивал на отставших: «Эй, ты, толстуха, возьми ребенка на руки! Эдак мы к вечерней молитве не дойдем до Аму». Когда джинны в нерешительности столпились на берегу реки, Зохир-ходжа прочел молитву, Амударья покрылась льдом, и джинны перебрались на ту сторону реки. И только один, самый старый, хромой джинн не мог двигаться по льду и остался. Святой махнул на него рукой. Старый джинн вернулся во дворец и с тех пор вел себя корректно.

Если джинны считались причиной болезней и прочих несчастий, то духи другой категории — пари — ничуть на них не похожи. Пари не только нейтральны, но скорее даже благожелательны по отношению к людям. Правда, и пари, если им не угодить, могут весьма жестоко расправиться с человеком.

Показательна одна особенность пари: они вступают с людьми в близкие, иногда даже интимные отношения. Впервые я узнал об этом, когда слушал поэтичную и немного грустную легенду об Ахмеди и водяной пари.

Это было в маленьком кишлаке на берегу магистрального канала Шават. Мы со старой Ай-момо, весьма словоохотливой и любознательной, переговаривали уже обо всех проблемах, занимающих современный мир, — мою собеседницу особенно волновала водородная бомба, — и разговор стал затухать. Тогда заговорили о любви.

Старая Ай-момо заметно оживилась.

— Вы слышали о бедном Ахмеди? — спросила она, пожевывая беззубыми деснами. — Вай! Он был так беден, что не мог собрать деньги на калым. — Она в отчаянии взмахнула руками. — «Женись на пари, это тебе ничего не будет стоить», — смеялись люди. Он не понял насмешки и долго бродил в по-

исках пари, пока не остановился на берегу Амударьи. Здесь он увидел трех су-пари, водяных пари, которые сушили на солнце свои волосы. Ахмед поведал им о своей горе, и самая младшая пари согласилась стать его женой. Однако она поставила ему условия: никогда не смотреть на ее ноги и живот, никогда не подглядывать за ней, когда она будет расчесывать свои золотистые волосы. Ахмед обещал и увел ее в свой кишлак. Он хорошо жил с молодой женой, но не сдержал слова. Он увидел, что у пари утиные лапы с перепонками, что живот у нее на боку, а когда она расчесывает волосы, то снимает голову и кладет ее себе на колени. Ничего не сказала пари, а на другой день ушла из дома в его отсутствие. Она превратилась в птицу и улетела к морю и здесь на чинаре, стоящей на острове, родила ребенка. Она завернула его в обрывки своего платья, положила в развилке чинаровых ветвей, а сама, снова став водяной пари, бросилась в воду. Долго искал ее Ахмед, пока не добрался до чинары на острове. Здесь заметил он тень, падавшую на море, и услышал плач ребенка. По обрывку платья он узнал своего сына и унес его домой.

Ай-момо была талантливой рассказчицей. Натура впечатлительная, эмоциональная, она искренне переживала с героями рассказа их злоключения. Она горевала с Ахмедом и негодовала на него, когда он не сдержал слова, данного девушке. Су-пари была для нее не духом с утиными лапами, а просто обманутой женщиной. В том месте рассказа, когда пари рвет на себе платье, чтобы завернуть дитя, Ай-момо заплакала.

Еще не раз я слышал самые необычайные рассказы о духах пари, о их взаимоотношениях с людьми. Пожалуй, самым примечательным здесь было то, что тесная связь между духами и людьми лежала в основе местного шаманства.

Среднеазиатские шаманы, как и шаманы Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, были своего рода посредниками между людьми и миром духов. Поскольку человека окружали таинственные и в большинстве своем враждебные сверхъестественные силы, на определенной стадии развития религиозных верований возникла необходимость в особых «специалистах», обладавших способностью связываться с миром духов, предотвращать зло, ими творимое, или ликвидировать его последствия в виде болезней и прочих несчастий.

Смысл среднеазиатского шаманства довольно прост: служители этого культа, используя в качестве своих помощников нейтральных духов — пари, с которыми они «вступали» в деловые отношения, путем особых «лечебных» церемоний — камланий изгоняли из тела больного завладевших им духов

враждебного лагеря — джиннов. Шаманы как бы заключали с пари коллективный договор, согласно которому пари обязаны были помогать шаману в его «лечебной» практике, а шаманы — кормить духов путем жертвоприношений.

Инициатива в подобном сотрудничестве почти всегда исходила от духов. Это они находили избранника, появляясь перед ним в облике красивых девушек или юношей, в виде голубя, пламени, и заставляли его сделаться шаманом — парханом, как они именовались в Хорезме.

Хотя смысл шаманства прост, но складывается оно из целого ряда обрядовых действий, различных по своему происхождению. Шаманство Средней Азии, и в частности Хорезма, еще очень слабо изучено. Не удивительно, что, столкнувшись с этим красочным явлением, мы настойчиво пытались узнать о нем как можно больше.

Это было трудным делом прежде всего потому, что мы застали шаманство в Хорезме на стадии отмирания и нам ни разу не удалось лично наблюдать камлания, церемонии изгнания злых духов. И на этот раз пришлось обратиться к людям. Нам повезло, и обязаны мы этим были опять-таки случайному знакомству.

Впервые мы с Гульнур-апа увидели эту женщину, когда возвращались пешком из Хивы в свой кишлак. Она шла в ту же сторону впереди нас. Небольшого роста, стройная, она передвигалась мелкими незаметными шажками; белое широкое платье развевалось, как флаг; казалось, она парит над землей. Мы нагнали ее, пошли рядом и разговорились.

Ей было за пятьдесят, и это совсем не вязалось с ее легкой, летящей походкой. На смуглом лице с мелкими морщинами светились большие черные глаза. Да, она идет из Хивы домой, в городе у нее младшая дочь работает в больнице, она навещала ее. Оказалось, что Тохта-апа, так звали нашу новую знакомую, живет в соседнем кишлаке у старшей дочери, нянчит внука. У поворота дороги она остановилась, порылась в сумке, дала нам по шоколадной конфетке и взяла слово, что мы навестим ее.

Сколько за эти годы было у нас таких случайных знакомств, и, удивительное дело, по большей части мы наталкивались при этом на интересных для нас людей.

Тохта была человеком необычной и трагической судьбы. Мы слушали ее затаив дыхание, когда через два дня оказалась в ее кишлаке и зашли к ней. Небольшая опрятная комната со свежевыбеленными стенами. Аккуратно разложенные одеяла и подушки. Скатерть — дастрахан со скромным угоще-

нием. Дома никого не было. Время от времени Тохта покачивала колыбель внука. Говорила она тихо, часто делая паузы, видимо вспоминая пережитое. А пережитого хватило бы на несколько таких маленьких женщин.

Все началось в трудном 1943 году, когда Тохта получила известие о гибели мужа. Через месяц был убит на фронте и первенец — любимый Анвар. Тохта не билась в рыданиях, не рвала на себе волосы и не царапала лицо, как другие женщины. Она точно окаменела. Недельку она просидела в полумраке комнаты в полном оцепенении, ничего не замечая. Помнит только, как тяжело тикали часы на стене. Соседки ухаживали за ней, дочери-школьницы взяли на себя все хлопоты по дому. Слезы пришли позже, но не принесли облегчения.

Потом Тохта вышла на работу. Как и другие женщины, она привычно пропалывала хлопок, но не видела ни растений, ни своих рук, ни окружающих. Горе целиком поглотило ее.

И тогда же начался период ее блужданий. Она не могла оставаться дома. Кое-как поев по настоянию дочерей, она уходила. Людей она сторонилась. Беспечно, ничего не видя кругом, проходила Тохта тропинками через посевы, брела вдоль арыка, сворачивала на первую попавшуюся дорогу. Дарбар — бродяга, так прозвали ее люди. С высокого места, оглядевшись вокруг, всегда можно было увидеть ее маленькую фигурку — то возле кладбища, то на плотине, то за кишлаком у озера, где отчаянно кричали лягушки. Где-нибудь здесь в сумерках находили ее дочери и уводили домой.

Это случилось под вечер, когда из кишлака потянуло первыми дымками, а от выстроившихся в шеренгу тутовых деревьев легли длинные тени. Тохта проходила мимо зарослей джиды около кладбища. Было тихо. Вдруг из кустов что-то со страшным шумом ринулось к ней. Тохта успела лишь увидеть ревущую морду ишака и без сознания упала в дорожную пыль. Когда дочери нашли ее, она пришла уже в себя, но не двинулась с места. Она не видела ни дочерей, ни огней кишлака: ее поразила слепота.

Собравшиеся старухи были единогласны в определении причин недуга. Кто же не знает, что джида — любимое пристанище злых демонов, джиннов и что джинны особенно склонны принимать образ животных. Из поколения в поколение передававшееся поверье не могла не знать и сама Тохта; несомненно, в тайниках ее помраченного сознания, когда она проходила зарослями джиды, копошилась эта мысль.

Молодая учительница отвела Тохту к доктору, приезжавшему на медпункт из Хивы. Тот, внимательно выслушав рас-

сказ, долго изучал глаза Тохты, покачал головой и сказал, что зрение может вернуться так же внезапно, как и пропало.

Но зрение не возвращалось, а у Тохты исчезло ее былое оцепенение. Она много плакала, с ужасом думая о себе и о детях. На смену безразличию пришел постоянный страх. Тохта боялась всего. Пугалась шагов во дворе, громкого разговора, лая собак. Даже тишина в доме казалась ей угрожающей. На нее напал панический ужас, когда янга (жена старшего брата), жившая в соседнем кишлаке и часто ее навещавшая, объявила, что скоро приедет шаманка, которая взялась изгнать злого духа, засевшего в ее несчастной голове.

Подготовка заняла чуть ли не полмесяца, и все это время Тохта была ни жива ни мертва от страха. Она никогда в жизни не присутствовала на камлании шаманов, но знала со слов матери и старух, как это страшно, и с детских лет ничего так не боялась, как парханов, местных шаманов и шаманок.

В дом, назначенный для камлания, привела ее янга. Тохту усадили в центре комнаты; она слышала, как много народу собралось кругом. Янга, пристроившаяся у нее за спиной, тихонько рассказывала о том, что происходит, и объяснила, что означает каждое действие шаманки.

Еще за три дня до камлания янга ходила в Хиву к гадалщику — фолбину, который, глядя в чашу с водой, определял, какое животное следует принести в жертву духам и из скольких давров — этапов должно состоять само камлание.

Шаманку, уже старую женщину, привезли из Саята. Несмотря на возраст, она, по слухам, обладала большим влиянием в мире духов.

Пари, духов-помощников и их войско (лашкар), прежде всего необходимо было призвать, заманить в помещение, где происходило камлание, и шаманка долго и упорно звала их, обращаясь то к открытым дверям, то к дымовому отверстию в потолке. В призывах сначала упоминались известные хорезмские святые, затем шло перечисление пари-помощников.

Духов в помещении надо было рассадить так, чтобы они не болтались без дела, а готовились к наступательным действиям. Для этого на стенах были повешены два полотнища материи: белого цвета — для пари-мужчин, красного — для пари-женщин. Начиналось самое главное — подготовка к атаке на враждебные силы; внимание пари следовало привлечь к больной и в нужный момент направить их войско против джинов, обосновавшихся в ее несчастном теле.

Тохта сжалась в комочек, когда шаманка, постучав бубном по обоим полотнищам и «собрав» в него пари, подошла

затем к ней и стала как бы ссыпать нечто на ее голову и плечи. В тот момент Тохта почти не слышала объяснений янги. Было не до того. О подробностях она узнала уже позже.

Открыть военные действия удалось не сразу: пари страшны и взыскательны, упрямы и корыстны. Следовало накормить их и возбудить их ярость к врагу. Вошедший мужчина принес курицу и зарезал ее на плечах у Тохты. Она чувствовала, как теплая жидкость стекала ей за воротник. Теперь уже пари облепили ее, привлеченные кровью. А шаманка все «сыпала» и «сыпала» из бубна новых духов.

Убедившись, что битва началась и позиции врага дрогнули, шаманка позаботилась, чтобы вредным джинам было куда отступать. Поочередно хватала она за задние лапы то кошку, то щенка, то курицу, которых подавала ей помощница, и, ударив ими по плечам больной, обводила вокруг тела Тохты и отбрасывала в сторону.

Это был самый ответственный момент. Шаманке надо было помочь. Все вокруг пришло в движение. Люди шумели, выкрикивали «Хак!», «Ху!», некоторые становились в круг и медленно передвигались, положив руки друг другу на плечи.

Шарканье и топот ног, хлопанье в ладоши, рев охрипших голосов, глухие удары в бубен — все это, казалось, вот-вот обрушится на Тохту. Она упала и прижалась лицом к земле. Ужас, как физически ощутимая боль, переполнил ее; на некоторое время она потеряла сознание.

Сколько прошло времени — пять минут или полчаса, она не знала. И, очнувшись, долго не могла понять, что ей мешает. Перед ней в давно привычной темноте поблескивали непонятные нити. Тохта провела перед собой дрожащей рукой и только тогда поняла, что лежит, прижавшись к козлыной шкуре. Зрение вернулось, но радость не сразу овладела ею: она была слишком обессилена.

Она приподняла платок, закрывавший ее с головой. Да, она не ошиблась: она видела.

Кругом царил полумрак, бледнели лица людей. Только в центре, где она сидела, керосиновая лампа высветила большой круг. В стороне у очага шаманка грела бубен. Все отдыхало. Тохта никого не узнавала и, лишь оглянувшись, увидела янгу. Женщины обнялись и заплакали.

Потом была заключительная церемония — кучурма. Враг был сломлен, его надо было окончательно удалить из тела больной. Тохту уложили на спину; как мертвую, закрыли белой материей, укрепили около нее самодельные свечи из хлопковой ваты. Слегка постукивая бубном по телу Тохты, начи-

ная от головы до пальцев ног, шаманка приговаривала: «Уходи в развалины дома! Уходи в старую чигирную яму! Уходи в места постоянного обитания!» И, огрызаясь, но уже потеряв былую силу, злые духи уносились на север.

На другое утро, когда еще не рассвело и люди в кишлаке не проснулись, шаманка отвела Тохту в укромное место на дворе ее усадьбы и здесь при помощи горящего факела проделала церемонию очищения огнем, завершающую все «лечение».

Когда вечером окрестные старухи собрались у Тохты и бурно обсуждали виденное накануне, она узнала многое из того, чего ей не привелось видеть. Особенно восхищало старух, что шаманка вскочила босыми ногами на лезвия двух мечей, которые она специально привезла с собой и которые в метре от земли держали горизонтально двое мужчин, а также, что она лизала раскаленное железо. Подобные действия, бьющие на внешний эффект, могли себе позволить только опытные, натренированные шаманы.

Прошло более десяти лет, и время стерло остроту горя. О пережитом Тохта рассказывала спокойно, не волнуясь, как будто все это произошло не с ней. Понимала ли она, в чем истинная причина мгновенного прозрения, что ее нервному перенапряжению нужна была разрядка, своего рода шок и что основным поводом, вызвавшим его, явилось камлание, столь потрясшее ее? Вряд ли Тохта это понимала. Однако после моего вопроса Тохта, подумав, еще раз вспомнила слова доктора, предсказавшего, что слепота может внезапно исчезнуть.

Однажды и мы познакомились с шаманкой. Вышло это случайно. Работая в кишлаках под Шаватом, отправились как-то пешком осмотреть развалины города Кята (левобережного), жители которого, давно уже немногочисленные, переселились в соседние колхозы. Беседуя на ходу с провожатым, местным жителем, мы спросили, между прочим, что знает он о шаманах. Вместо ответа молодой человек отбежал к арыку, отделившему дорогу от хлопкового поля, и стал всматриваться в группы женщин, работавших на прополке. «Вон она!» — крикнул он. «Кто — она?» — недоумевали мы. Оказалось, что среди женщин трудится шаманка, вернее, бывшая шаманка, так как практика ее сошла на нет.

Тут уж нам было не до развалин Кята. Обосновавшись под деревом, мы, как охотники в скраде, принялись караулить свою ни о чем не подозревавшую жертву. Когда работавшие пошли на отдых, наш спутник привел ее к нам. Это была женщина лет сорока с лишним, внешне мало чем примечательная.

Худая, сутуловатая, она была очень нервна: глаза ее бегали, руки все время перевязывали головной платок.

Ее звали Рауза-апа.

— Зовите меня Розой, — сказала шаманка, улыбаясь нам.

Она быстро успокоилась, узнав, кто мы такие, но вытянуть что-либо существенное у этой хитрой и осторожной женщины было крайне трудно. Мы хотели узнать имена тех духов-помощников, которых призывают для камлания местные шаманы. Оказалось, что они по большей части безымянны и к ним обращаются описательно.

— О ты, одетый в красное платье с рукавами, волочащийся по земле, приди, приди, окажи мне помощь! — заученно выкрикнула Рауза-апа хриплым голосом.

Дальше этого дело не пошло. Шаманка Роза была явно не расположена к откровенной беседе о духах. Вторжение наше было слишком внезапным. К тому же и сама шаманка, как мы убедились за короткое время, была переполнена чисто земными интересами. Она несколько раз пересчитывала, сколько трудней она уже заработала, и страшно оживилась, когда, захлебываясь от восторга, описывала, какие чудесные шелковые отрезы в качестве премии получают лучшие сборщицы хлопка.

Тут с Гульнур-апа стало твориться что-то неладное. Она сжимала ладонями виски, стонала и жаловалась на головную боль. Я сообразил, в чем дело. Гульнур-апа пустилась на хитрость, предполагая, что ей самой посчастливится стать объектом шаманского лечения. Шаманка Роза мигом посерьезнела, вытащила из-за пазухи узелок, долго в нем рылась и наконец протянула Гульнур-апа пачку пирамидона. Курьез получился полнейший.

На второй год наших занимательных экскурсий в мир духов у нас с Гульнур-апа возникла необходимость произвести «первичный учет» духов. Этим мы занялись в Ханки, большом поселке, где осели надолго и где около нас образовался актив добровольных помощниц из числа ханкинских женщин. С такими консультантами мы могли быть спокойны за судьбу нашего мероприятия. Надо сказать, что многое было уже позабыто и нередко женщины разводили руками, будучи не в состоянии ответить на наши вопросы. И когда одной из них удавалось вспомнить какую-нибудь существенную деталь, все приходило в восторг от ее памяти и немного завидовали ей, что она, привлекая всеобщее внимание, торжественно диктовала, а мы, уткнув носы в полевые дневники, старательно строчили и ломали карандаши.

Редко наши беседы проходили спокойно и чинно. Наши собеседницы страшно экспансивны, они волнуются, спорят до хрипоты, перебивая одна другую, ссорятся и мирятся. Если учесть, что одни уходят по неотложным делам, другие приходят, что тут же шьют, кроют, варят, пекут лепешки, пеленают орущих младенцев и раздают направо и налево звонкие шлепки старшим, не в меру любопытным чадам, общая картина наших «симпозиумов» будет довольно точной. И тем не менее такие групповые собеседования для нас особенно полезны, так как мы имеем возможность тут же перепроверять полученные данные, а в спорах рождается истина.

В иной обстановке протекает беседа, когда к нам «на огонек» забредает какая-нибудь древняя старуха, признанный авторитет в познании обычаев и обрядов. Ее сажают на почетное место, все говорят вполголоса. Старая пифия изрекает, а младшие почтительно ее слушают. Женщины очень удачно рассортировали нам духов по внешнему виду, повадкам, по степени их зловредности, сообщив множество новых для нас подробностей. Тут выявилось одно примечательное обстоятельство. Хотя наши помощницы имели дело с одними и теми же категориями духов, характерные особенности которых знали от своих бабок и прабабок, духи каждой из них отличались своеобразием, соответствующим индивидуальности той или иной рассказчицы.

Хотя Момоджан была матерью двух уже взрослых детей, в ней не исчезли черты той взбалмошной девчонки, которая некогда удрала из родного кишлака. Духи Момоджан были озорные и своевольные. От этих духов можно было ожидать самых неожиданных проделок, даже таких, которых им делать было не положено. Духи Момоджан ни с того ни с сего начинали вдруг зашвыривать человека камнями, комьями глины или в отсутствие хозяев устраивали в доме сущий погром. Джинны, вместо того чтобы прилично «витьяся, как мошкара», над скоплением золы и навоза, вдруг превращались в черных кошек и прыгали в открытые окна, а водяные пари оказывались почему-то на крыше. Духи Момоджан действовали по наитию. Они ликовали, когда им удавалось натворить такое, что у человека отнимался язык.

У болезненной, плаксивой Хамиды, пятеро детей которой всегда на что-нибудь жаловались, духи были вялыми и нудными, как комары. Они присасывались к человеку и неделями вытягивали из него жилы. Действовали они из-за угла, нападая при первой возможности. Ее духи не были

способны на эффектный маневр. При своей мелкой злобности они были просто скучны.

Совсем другими были духи у Зулейхи. Сомневаюсь, чтобы Зулейха вообще верила в каких бы то ни было духов, но благодаря неумной любознательности запоминала все рассказы старух и потому знала абсолютно все. Зулейха была завидно жизнерадостна, и такими же были ее духи. Они любили необузданное веселье, остроумию их не было границ; иногда было непонятно, смеются ли они над человеком, попавшимся им на пути, проделывая над ним всякие фокусы, или хотят нанести вред.

У аккуратной, степенной Шарипы все действия духов были построены на строгом расчете. Они никогда не нарушали традиционных правил поведения, приличествующих духам, были чопорны и чванливы. Только такие духи импонировали Шарипе. На духов своих подруг Шарипа смотрела свысока и снисходительно, как и на самих подруг: сын Шарипы учился на медфаке в Ташкенте. Вообще Шарипа была немногословна, но, когда видела, как загорались наши глаза при упоминании о духах, она не выдерживала и кидалась в словесные поединки.

Иногда с соседней улицы приходила старушонка с маленькими колкими глазками. За ней врывались ее особенные духи: все они, как и сама бабка, были невероятно злы. Бабка с упоением рассказывала о тех страшных мучениях, которым духи подвергают попавшихся в их сети людей.

Духи по людскому образцу и подобию! Нельзя не вспомнить формулировку Людвига Фейербаха, на которую ссылается Фридрих Энгельс: «Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией, это — лишь фантастические отражения нашей собственной сущности»¹. Подобная закономерность была мной осознана позднее. А пока мы слушали наших рассказчиц и записывали все, что еще можно было в то время зафиксировать.

Но уже тогда, пятнадцать лет назад, эти образы народной фантазии начинали меркнуть. Персонажи демонологии лишались своих индивидуальных особенностей, сливались в нечто соответствующее расплывчатому понятию нечистой силы.

Забывалась и связанная с духами обрядность. Я наблюдал, как три старухи, готовя домашнюю процедуру «лечения» от сглаза, до хрипоты и взаимных оскорблений спорили о порядке ее проведения, сами абсолютно ничего не помня и ссылаясь

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 21, стр. 280.

на авторитет какой-то Робии, умершей много лет назад. Они спорили до тех пор, пока у них не пропал всякий интерес к обряду. Вечером, когда в кишлак приехала кинопередвижка, я снова увидел их: старухи с упоением смотрели итальянский фильм.

Деградация веры в духов коснулась всех ее сторон. Духи отступили под натиском современной культуры в городе и кишлаке. Мало кто связывает сейчас то или иное заболевание с действием джинов и албасты. Даже у старых людей, которые являются хранителями традиции, медицинская наука завоевала непререкаемый авторитет. Даже им известны подлинные причины заболеваний. Старухи, заболевшие гриппом, прежде чем взять в руки внука, заматывают себе рот и нос концом лачака — головного платка. Однажды я зашел к знакомому старику. Дед встретил меня необычно: еще у порога он схватил платяную щетку, стал чистить меня ею с головы до ног. Это как-то совсем не вязалось с этикетом гостеприимства. Объяснения я получил только позднее от других лиц. Оказалось, старик знал, что в доме, где мы остановились, болен сынишка хозяев, и вот, дабы я не занес в его дом инфекции, он тщательно смахивал бактерий с моей одежды.

Вслед за верой в духов ушло в прошлое и шаманство. Ливившись былой клиентуры, последние шаманы пребывают в безвестности. Как-то я попросил знакомую старуху, некогда понемногу шаманившую, показать бубен — это непременно орудие «врачевания». Старуха долго и тщательно рылась в чулане, пока не выяснилось, что бубен взяла ее внучка и давно уже выступает с ним на вечерах школьной самодеятельности.

Эра духов кончается. И пусть в бессильной ярости аджарко бьет хвостом в своем подземелье, боясь высунуть нос на поверхность, пусть последний облезлый джинн караулит около развалин старого дома зазевавшегося прохожего, пусть албасты в погоне за роженицей и новорожденным, скрипя зубами, тщетно бродит у стен родильного дома. Дни духов сочтены, вера в них на исходе.

Может быть, лет через двадцать хорезмским ребятишкам попадутся эти записки, и они, открыв незнакомый им сказочный мир, подивятся необыкновенной фантазии автора.



Во время странствий по Южному Приаралью нас интересовало в первую очередь все, что относилось к прошлому края, к его истории. Такова была тематика наших полевых исследований. Вполне естественно, что за помощью мы обращались к самому старшему поколению жителей этих мест. Мы встречались и беседовали с десятками стариков, в прошлом людьми самых различных профессий и занятий: здесь были ремесленники; старые, опытные землеробы; потомки скотоводов; мирабы, некогда ведавшие системой каналов; представители духовенства всех родов. Перед нами прошли люди с самыми различными характерами и убеждениями. Но никогда ни от кого мы не получали отказа в помощи. Наоборот, когда наши собеседники понимали существо задач, стоящих перед нами, когда произносилось магическое слово «тарих» — история, нас же самих трогательно благодарили за внимание к прошлому их родного края.

Хорезмские старики. Какую бездну фактов — исторических преданий, обычаев, легенд, поверий — хранит их память! Ученые самых разных гуманитарных специальностей — этнографы, историки, археологи, фольклористы — при желании найдут в ней источник исключительно ценных и полезных для науки сведений. Сразу же после того, как мы приезжали в кишлак или городской квартал и завязывали первые официальные и неофициальные знакомства, нам называли двух-трех сведущих и полезных для нашей работы стариков. Мы отыскивали их. Бывали и неудачи, когда собеседник оказывался малознающим, не проявлявшим любознательности в отношении тех вопросов, которые занимали нас. Но это бывало редко. Дальше все шло обычным порядком: наши собеседники называли все новых и новых лиц. Бывали случайные знакомства, возникавшие где-нибудь на базаре, в чайхане, на пароме, у колодца.

Стариков мы иногда заставляли врасплох, где-нибудь на приусадебном участке подрезающими виноградную лозу или пускающими воду из арыка. Они безропотно бросали все, чтобы,

следуя старинному обычаю гостеприимства, достойно встретить гостя в своем доме. И начинались нескончаемые беседы, сначала размеренные и спокойные, когда собеседники только знакомятся друг с другом, а потом все более оживленные и горячие. Чайник сменялся чайником, ноги от сидения на ковре затекали; время шло, любознательные внуки укладывались спать, хозяйка украдкой зевала, а наша беседа была в полном разгаре: как в калейдоскопе, перед нами сменялись факты, события, люди. Наконец выдыхались и мы.

Сейчас, когда я вспоминаю этих стариков, их загорелые морщинистые лица, седые бороды, натруженные руки и согнутые временем спины, меня немного мучает совесть. Как часто в непреодолимой жажде побольше узнать мы забывали, что рядом с нами люди, отягощенные годами, старческими недугами, уставшие от каждодневных забот, и доводили их своими разговорами до полного изнеможения.

Но был среди них один чудесный старик, который никогда не уставал. Нет-нет, он отнюдь не был болтлив! Он любил обдумывать каждый вопрос, отвечал четко и обстоятельно, был конкретен и не тратил сил на что-либо лишнее, второстепенное, поэтому он и не выдыхался так быстро, как некоторые другие.

Когда я впервые познакомился с муллой Садуллой, настоящим мечети в Ханки, он был уже в весьма почтенных летах. Уроженец кишлака, расположенного около Ханки, он еще в ханские времена окончил медресе — духовное училище — в городе Хиве, но обучение и воспитание в столице ханства не наложили на него своего отпечатка. Он не умел щеголять богословскими познаниями, как другие служители культа, держался незаметно, так и оставшись всю жизнь простым деревенским муллой. В первые годы нашего знакомства он был настоятелем мечети, связанной легендой с именем знаменитого хорезмского святого Саид-ата, но впоследствии с должности имама его потеснили на более второстепенные роли.

Первое знакомство с ним я помню смутно. Это было в 1955 году, когда наш отряд ненадолго обосновался в Ханки. В мечеть меня отвел старый партизан, в молодые годы участвовавший в борьбе с бандами Джунаид-хана. Я познакомился с ним в райисполкоме. Накануне мы имели с Аваз-ата длительную беседу, и я втайне полагаю, что, вконец измученный нами, старик решил отделаться от нас, передав с рук на руки своему другу мулле.

Мулла Садулла был маленький и сухонький. Он абсолютно не напоминал тех величественных духовных особ, с которыми

мне приходилось встречаться. Широкий халат, кое-где заштопанный, еще более подчеркивал его далеко не атлетическое сложение. Синяя чалма была весьма вольно накручена на черную тюбетейку. Лицо у него круглое, пухлое; на носу красовалась родинка; глаза круглые, темные; на людей они смотрели внимательно, изучающе и с легкой лукавинкой. Бородка была отнюдь не канонична, довольно реденькая, тем не менее мулла любил иногда важно расчесывать ее гребешком, на котором не хватало половины зубцов.

Наверное, потому, что внешность муллы Садуллы была столь обыкновенна, первая встреча с ним и не оставила в памяти заметного следа.

В ту осень мы слишком мало жили в Ханки и муллу видели не часто; он только приглядывался к нам, а мы к нему.

Мельком я встречал его и летом следующего года. Мы совершали маршрут, пересекая оазис с северо-запада на юго-восток. Путешествие это было довольно утомительным. Мы долго ехали скупой солончаковой степью Северного Туркменистана, пока не достигли культурной зоны, тянувшейся до самой Амударьи; по левому берегу реки мы ползли по старой подпиральной ее дамбе, по «гребенке», сжав зубы, чтобы не прикусить язык; затем блуждали по каким-то тропинкам горного кряжа Джумуртау и наконец вырвались на дорогу Гурлен — Ургенч — Хазарасп и понеслись без остановки к этому конечному пункту нашего маршрута.

Мы надеялись засветло попасть в Хазарасп, но на подступах к Ханки нас застал вечер. Решили сделать остановку. Обычно ночевка не представляла для нас сложной проблемы: была машина, к теплоте боку которой можно было притулиться; были походные койки, спальные мешки. Но тут, сколько мы ни крутили головами направо и налево, выбрать подходящего места не удалось: не было ни озера, ни купы деревьев, ни бугорка; к дороге вплотную подходили массивы хлопковых полей, мы находились в самом сердце земледельческого Хорезма.

Уже в темноте мы въехали в Ханки. Близких знакомых тогда еще не было, и я решил ехать прямо в мечеть. Узенькими улочками старой части поселка наша машина, тихо урча, осторожно пробралась к мечети, темневшей на небольшой площади, и остановилась у калитки в кирпичной стене. Мы прошли во двор. Прямо громоздилась старая мечеть Саид-ата, слева — летняя мечеть с айваном; темнота во дворе еще более сгущалась от огромных старых карагачей. Только за пристройкой в углу двора на циновке горела лампа. Я очень

обрадовался, увидев около нее знакомую фигуру муллы Садуллы. Старик, видимо, задержался, не попал в свой кишлак и заночевал в мечети. То, что мы, шесть человек с машиной и грузом, ночью нагрянули в мечеть, его несколько не удивило.

Когда я спросил, где можно переночевать, мулла широким жестом хозяина обвел все кругом, заявив, что мечеть в нашем распоряжении. Устанавливать походные койки на айване под михрабом — нишей, указывающей направление на священную Мекку, — нам было как-то неловко. Мы выбрали дальнюю часть двора, отделенную от остальной части низкой оградой и, видимо, игравшую подсобную, хозяйственную роль, отнесли туда койки и уже в полной темноте расставили их в одну шеренгу.

Выехать условились мы на рассвете. Рано утром, проснувшись еще в темноте и оглядывая свой отряд, я никак не мог сообразить, сколько же нас здесь. Шофер и переводчик спали на улице в машине, нас четверо. А кто же спит слева от меня, пятый? Приглядевшись, я увидел, что к нашей шеренге коек пристроился замыкающим весьма мрачный сосед — гроб, вернее, табут, ящик на ножках, в котором переносят покойников. Вечером в темноте мы его не заметили. Как ни рано мы поднялись, мулла был уже на ногах; нас ожидал чай. Я рассказал старику о ночном соседе. Мулла страшно смеялся, утирая слезы большим красным платком.

Приехали мы в Ханки осенью того же года, правда состав нашей экспедиции был несколько иным. Из прежних участников экспедиции кроме меня была Гульнур-апа, уже один раз побывавшая в этом городе. Вместо нашей старой верной машины на этот раз у нас был ГАЗ-69, ведомый Иваном Ивановичем.

Об Иване Ивановиче стоит сказать особо. Если в реальной жизни существует двойник чеховского Епиходова из «Вишневого сада», пресловутый «двадцать два несчастья», то это Иван Иванович. Несчастья стерегли его на каждом шагу. Сев в машину, можно было только метров двести ехать спокойно и уверенно: далее что-нибудь непременно случалось. И не потому, что он был плохим водителем, — как будто злой рок преследовал его. Мы постоянно были на чеку.

В Ханки на этот раз мы обосновались надолго. Конечно же, мы сразу явились к мулле Садулле, и он отвел нас в дом умершего зимой друга, строго наказав его вдове Момоджан обеспечить нас максимальным комфортом и опекать нас.

Дом из двух комнат, крохотный уютный дворик с кустом

душистого рейхана в центре, огромный кат — переносные нары, похожие на деревянную кровать, — служивший нам приемной, столовой и рабочим кабинетом, навсегда останутся в памяти; нигде и никогда нам так хорошо не жилось и не работалось.

Не прошло и двух дней, как наш дворик стал наполняться людьми. Посещения начинались с утра и кончались поздно ночью. Все ближайшие соседи Момоджан по кварталу постоянно приходили к нам, и не раз откуда-нибудь из-за дувала раздавался истошный вопль голодного мужа, вернувшегося с работы и не нашедшего дома ни обеда, ни жены. Радиус нашего притяжения возрастал, и уже жители не только квартала, но и всего поселка появлялись на нашем дворике. Кто только здесь не перебивал! Даже жадные до новостей древние старухи, которых под руки приводили наши добровольные помощницы, и те бывали у нас. Женщины группировались около Гульнур-апа; ко мне приходили почтенные старцы, с которыми я знакомился, бродя по городу или в мечети. Среди них был даже один потомок святого Саид-ата, по профессии ювелир, некогда изготавливавший серьги и браслеты для местных красавиц, а сейчас уже находившийся на покое.

Пожалуй, никогда нам не приходилось столько записывать. Нужные нам сведения лились рекой. Говорили обо всем, но мы уже давно обладали секретом незаметно переводить беседу в нужное нам направление. Весь этот месяц мы прожили в мире прошлого, перезнакомились с героями древних преданий, с многочисленными святыми, перешли на «ты» со всякими злыми и добрыми духами. Под конец дня, когда совсем уставали, свои усилия мы объединяли: один писал, другой вел беседу. От карандашей на пальцах вздувались мозоли.

Потоком посетителей женского пола управляла наша хозяйка. Досконально изучив наши интересы, Момоджан часто сама бралась вести беседу, нам оставалось лишь записывать. Высокая, стройная, резкая в движениях и суждениях, Момоджан, несмотря на свой возраст, не надевала традиционного головного убора пожилых женщин — высокого тюрбана, как это делали ее соседки. До сих пор в ней угадывалась та взбалмошная девушка, которая некогда ускакала на коне тогда еще молодого Аваза из своего родного кишлака. Момоджан ведала у нас угощением гостей. Когда бывал «большой плов», Момоджан царственно-небрежным жестом разбрасывала по дастархану ветки душистого рейхана, который вырастила, и очень гордилась этим.

Однако подлинной душой нашего маленького мирка был мулла Садулла. Почти каждый день он появлялся у нас. Уже

издали, открывая калитку, мулла давал знать о своем приходе, шутливо напевая дребезжащим тенорком: «Э, Гульнур-апа, ёр-ёр!» «Ёр-ёр» — это обращение к возлюбленной в старинных свадебных песнях. Конечно, оно адресовалось нашей Гульнур-апа, которая сейчас же начинала приводить в порядок свою прическу. Мулла снимал калоши и в мягких ичигах забирался на кат, удобно и прочно устраиваясь на своем любимом месте.

С его приходом все оживлялось. Старик умел поддерживать разговор, в запасе у него всегда имелось меткое остроумное выражение. К местным женщинам, стрекотавшим у нас во дворе, мулла относился покровительственно, с чуть заметным пренебрежением. Он напускал на себя сердитый вид и нередко покрикивал на них, когда они начинали не в меру болтать. Женщин это не волновало: они хорошо знали, что старик добродушен, не стеснялись его и нередко бросали ему озорную шутку, которую мулла моментально парировал.

Когда во дворе были мы одни, мулла много и интересно рассказывал. Темы бесед у муллы были любимые и нелюбимые. Так, он предпочитал отмалчиваться, когда кругом заговаривали о персонажах демонологии, о злых, добрых и нейтральных духах. Говорить об этом было противопоказано его сану: истый мусульманин должен верить в единого бога и его монопольное могущество. Но мулла часто не выдерживал этой роли и с жаром кидался в спор о свойствах разных джиннов и пари. В эти моменты пропадало все его благочиние, перед нами был простой кишпачный житель со всеми присущими ему суевериями.

Любил мулла говорить о святых, которые столь обильно представлены в хорезмских верованиях. Немало легенд о них записал я от муллы Садуллы. Но, удивительное дело, все святые в рассказах муллы выглядели довольно странно. Это не были ревнители благочестия, подвижники, предающиеся постам и служению богу. Все это было для моего муллы где-то на заднем плане. Старика особенно увлекали в легендах о святых всякие необычайные происшествия, авантурные приключения и фантастические деяния героев этих легенд. Ему нравился Али, святой-рыцарь, прославившийся бранными подвигами и на своем коне Дульдуде перескочивший через Амударью. Он захлебываясь рассказывал о конфликте в семье святого Хаким-ата, когда сын последнего, тоже святой и конкурирующий с отцом в совершении всяких чудес, вынужден был бежать из дома, а его мать гналась за ним вдоль Амударьи, умоляя вернуться. Несколько раз мулла принимался расска-

зывать о другом святом, который, дабы посрамить соперника, поткнул в землю посох, и тот на глазах у присутствующих прервался в дерево.

— Как же это так? Из палки — и сразу дерево! — раздумывая говорил мулла и испытующе поглядывал на меня.

Мулла любил наглядность. Силе слов он не очень доверял. Рассказывая, он чертил на песке щепочкой или отнимал у меня полевой дневник и, нахмурясь, старательно изображал в нем какие-то каракульки. Это он очень любил. Где-нибудь на улице, беседуя со мной на ходу, он мог преспокойно снять тубетейку с головы проходившего мимо мальчонки и долго объяснять мне назначение нашитых на ней амулетов, пока ее владелец, замерев на месте, тарашил на нас округлившиеся от страха и почтения глазенки и терпеливо ждал возврата своей собственности.

Когда по ходу бесед речь зашла об обычаях и обрядах при строительстве нового дома, мулла отвел меня на окраину Ханки, где шло индивидуальное строительство. Здесь я увидел старинный обычай традиционной взаимопомощи — кумак, строго обязательный для родных, ближайших соседей и особенно для группы джура — друзей, сверстников хозяина, обычай, живущий и в наши дни. При строительстве нового дома оплату получает только приглашенный мастер — усто; все особенно трудоемкие работы выполняются участниками кумака по очереди. В обязанности хозяина входило только приготовление пищи для работающих. Мы с муллой наблюдали, как споро и ловко шло возведение пахсовых — глинобитных стен дома. Потом люди обедали. Мы сидели под временным навесом около сооружаемого дома, пили чай, и я записывал и о взаимопомощи, и о маленьких тоях, празднествах, которые сопровождают основные моменты строительства, — при укладке первого ряда пахсы, при окончании перекрытия дома, и о различных поверьях.

Со многими вопросами обращался я к мулле Садулле. Особенно интересовала меня большая семья. Такие семьи сейчас уже почти не встречаются. Объединившие три и более поколений, они насчитывали в своем составе до нескольких десятков членов обоего пола. Все работы выполнялись сообща, пищу готовили в огромных котлах на всю семью по очереди; отсюда и обычное название такой семьи — «бир казан», то есть один котел, общий котел. Во главе такой семьи стоял один из старейших по возрасту, его жена руководила всеми женскими делами семьи. Жили такие семьи в типичных для Хорезма усадьбах — хаули, которые представляли собой подлинные

дома-крепости с башнями, высокими глинобитными стенами, массивными воротами, закрывавшими въезд в усадьбу. Большие патриархальные семьи были хранительницами традиций, преданий, легенд и поверий.

Мулла Садулла, которого я тормозил этими вопросами, следуя своему правилу наглядности, не стал долго разглагольствовать: он залез в нашу машину и увез меня в свой родной кишлак. Дом его предков был грандиозен, стены и башни в морщинах и трещинах от старости; широкий коридор, по которому лошадь с арбой проезжала внутрь помещения, тонул в темноте; справа были жилые комнаты, слева — хозяйственные помещения. Все это находилось под единым перекрытием. Мулла долго водил меня по этой «крепости», рассказывал о назначении тех или иных помещений, о строе большой семьи, о взаимоотношениях ее членов. Наши шаги по глинобитным полам гулко отдавались в тишине: дом был почти пуст, семья давно раскололась, жилыми были всего три-четыре комнаты. Из темноты коридора мы вышли во внутренний дворик, залитый полуденным солнцем. Он был в полном запустении, в пыли валялись остатки хозяйственного инвентаря. И только в северном его углу зеленел на разрыхленной почве розовый куст с единственным багровым цветком: чьи-то руки бережно ухаживали за ним.

Мулла и на этот раз очень помог: я получил сведения о старой семье полнее и ярче, чем это могли бы дать многочисленные беседы.

Чрезвычайно интересное явление религиозной жизни прошлого — ремесленная, точнее, профессиональная обрядность. Каждая профессия имела своего пира — святого покровителя, считавшегося основателем данной профессии. Так, покровителем деревообделочников и лодочников был Нух пайхамбар, кузнецов, медников и ряда других ремесленных профессий — Хазрат Дауд, ткачей — Идрис пайхамбар и так далее. В большинстве случаев это все библейские персонажи, заимствованные и канонизированные исламом. Почитанием были окружены и все арвохи — духи умерших мастеров данного ремесла. В честь пиров и арвохов происходили ритуальные собрания мастеров с коллективной трапезой и чтением рисоля — религиозно-этического устава данного цеха. Целым рядом обрядов было окружено посвящение в мастера ученика, закончившего обучение.

Мулла Садулла, всю свою жизнь проведенный среди ремесленников, хорошо знал обрядовую сторону жизни цехов. Однажды вечером притащил он целую грудку рукописных и лито-

графированных рисоля, стал зачитывать из них выдержки, интересовавшие меня. А потом, следуя своему правилу, он стал водить меня к своим знакомым кузнецам, медникам, кожевникам — ремесленникам, передававшим свои навыки по наследству, чтобы я из первоисточников узнал подробности этого своеобразного культа. Сам мулла Садулла только вводил нашего собеседника в курс дела, сообщая ему, кто я, откуда и что меня интересует. Оказалось очень выгодным иметь своим опекуном и гидом столь заметное лицо, каким был настоящий Ханкинской мечети.

С одним из пиров, а именно со святым Даудом, пожалуй самым популярным в Хорезме, нам вскоре удалось завязать более близкое знакомство.

Однажды мулла Садулла предупредил, чтобы наша машина завтра была в порядке, так как мы совершим дальнюю поездку в пески на Дуз. О Дузе я слышал и раньше. «Дуз» — это соль, но потом так стали называть места, где расположено соленое озеро, считающееся целебным, и куда совершается паломничество. Оно находится на юге оазиса на границе с песками. Знал я и то, что рядом расположена древняя крепость, именуемая Каладжик. Путешествие предстояло серьезное.

Утром мы были готовы. Мулла явился торжественный — в новом халате и огромной, не по росту, овчинной шапке. Мы уложили в машину чайник, пиалы, еду; намечалось нечто вроде пикника. Кроме муллы, Гульнур-апа и меня ехала наша хозяйка Момоджан, давно собиравшаяся полечиться на соленом озере. Мы забрались в «козла», которого Иван Иванович ради торжественного выезда тщательно помыл. Мулла обосновался на переднем сиденье.

Выехав на богатскую дорогу, мы двинулись на юг. Ехали мимо массивов хлопковых полей, миновали несколько кишлаков, пересекли канал Палван и уже ближе к полудню достигли Багата, тогда небольшого районного центра. Окраиной поселка выехали на дорогу Хазарасп — Хива, пересекли ее и, углубляясь еще далее на юг, начали поиски путей к пескам, петляя в зоне сбросовых озер. Пейзаж изменился. Зеленые кроны деревьев остались позади, кончились хлопковые поля, пустыри, среди которых поблескивали озера, заросшие тростником. На горизонте светлым массивом простирались Каракумы; это была пограничная полоса, где пустыня переходила в оазис.

Именно здесь злой рок, преследовавший Ивана Ивановича и отставший было от него где-то в начале пути, нагнал нас. «Козел» нырнул в безобидный на первый взгляд арычок без

воды и забуксовал в густой грязи. Мы провозились с ним полчаса. Мулла старался не отстать от нас, подбрасывая под колеса весьма тонкие веточки тамариска.

Когда арык был преодолен, «козел» еще поплутал между солончаками и болотинами, затем выехал на песок и зафыркал уже между барханами, приближаясь к крепости.

Здесь было безлюдно и тихо, только поодаль неприятными голосами кричали озерные птицы. Крепость поднималась из песков на несколько метров в высоту. Она была невелика, восточная стена ее не сохранилась; зато южная, у подножия которой приютилось маленькое соленое озеро, красовалась великолепным рядом античных стреловидных бойниц. На бугре над озером был чарток — навес на четырех столбах, пристанище пастухов и паломников, где мы и устроили свою базу.

Мулла повел нас на крепость и прочел лекцию. Тут и выяснилось, что мы находимся в царстве святого Дауда, покровителя всех ремесленников, имеющих дело с металлом, и что всего в нескольких метрах, под крепостью, расположена его мастерская, где день и ночь святой бьет огромным молотом по столь же обширной наковальне; иногда он выходит на поверхность, весь осыпанный землей, и тащит за собой раскаленное железо, чтобы остудить его в воде. Лужа скопившейся дождевой воды темнела тут же, на дне крепости, между кустами тамариска. В старые времена кузнецы и медники, прошедшие посвящение в мастера, совершали паломничество на крепость; здесь они ночевали и, приложив ухо к земле, слушали, не раздастся ли грохот ударов Дауда по наковальне.

После экскурсии на крепость мы завтракали под навесом, вскипятив воду на паяльной лампе. Откуда-то возник человек на ишаке, разыскивающий отставшую корову, и присоединился к нам. Был он крайне немногословен и успел лишь сообщить, что на крепости обитает какой-то «страшный зверь».

Потом женщины пошли купаться. Я соблазнял муллу опять подняться на крепость послушать святого Дауда, но старик, поглядывая в ту сторону, где плескались женщины, предпочел остаться на этом наблюдательном пункте и отдохнуть.

Я ходил на крепости вдоль стен и думал о святом Дауде. Персонаж весьма примечательный: это не кто иной, как псалмопевец царь Давид, образ которого из Библии перекочевал в мусульманский Коран, но совсем уже в ином качестве — царь стал кузнецом. Почему же легенда о его мастерской локализовалась здесь, далеко от центра оазиса, на античной крепости, возникновение которой археологи относят к IV веку до нашей эры? Ответить на это трудно.

К бойницам подступают остатки стрелковой галереи. Сквозь щель бойницы я смотрел на расстилавшиеся на горизонте Каракумы. Я почтительно провел рукой по шероховатым стенкам. Быть может, именно через эту бойницу бородастый хорезмский воин в кольчуге зорко вглядывался в южную даль, туда, где за сотни километров отсюда бушевали полчища Александра Македонского.

Потом в тени южной стены я нос к носу столкнулся со «страшным зверем», поражающим воображение окрестных пастухов. В промоине стены, сложив муфточкой лапы, лежал черный, с белыми пятнами кот и с ужасом тарашил на меня свои глазищи. Когда я хотел завести с ним более близкое знакомство, он зашипел и отпрянул в глубь пещерки. Как он попал сюда, так далеко от жилья? Жилось ему, видимо, здесь неплохо: полевые мыши, рыбешки, птички; кстати, в его пещерке я видел птичьи перышки. В этом античном раю черному Адаму, наверное, не хватало только Евы.

Солнце уже клонилось к западу, когда мы покинули резиденцию Дауда и «страшного зверя». Довольные, разомлевшие от солнца и купанья, мы молча ехали, пересекая в обратном направлении Хорезмский оазис. Каждый думал о своем. На половине пути нас застали сумерки, а потом быстро стемнело. Включили фары. Они подсвечивали деревья с запыленной листвой; какие-то зверьки в панике пересекали наш путь, проплывали спящие кишлаки, и не в меру бдительная собака лениво, по обязанности лаяла нам вслед.

Кто мог ожидать, что в этой мирной обстановке злой рок еще раз вмешается в наши дела и что объектом его козней будет наш старик? Мулла, видимо, задремал, клюнул носом (как знакомо это клевание носом всем участникам экспедиций!) и, ударившись обо что-то в кабине, рассек себе лоб. Остановились. Ранка была небольшая, но все необходимые меры были приняты. В сумочке Гульнур-апа оказались и бинт, и вата, и духи «Крымская роза», которыми промыли ранку. Муллу забинтовали. Конец пути предали довольно уныло, и все были рады, когда машина въехала в Ханки. Муллу, благоухающего «Крымской розой», отвезли домой в кишлак.

Я очень за него беспокоился, но на другой день в мечети он с перевязанной головой, но сияющий встретил меня вопросом: «Ну, а теперь куда мы покатим?!» Вчерашнее происшествие не смутило его. Он придумывал для нас все новые вояжи, всячески обосновывая их необходимость, и первый, покаряхтывая, лез в кабину на свое неизменное место. С маши-

ной он давно освоился и, сидя рядом с водителем, начинал уже давать ему всякие советы.

Все свободное время между нашими выездами мулла Садулла проводил на двореке. Он появлялся под предлогом необходимости читать Коран по умершему хозяину дома, но ни разу мне не привелось видеть, чтобы мулла перевернул хотя бы одну страницу священной книги. Вместо этого мулла упивался беседами с нами. Он надолго усаживался на кате, снимал свою синюю чалму, которая, кстати, всегда сидела на нем набекрень, и оставался в черной тюбетейке. Иногда он снимал и ее и ерошил ладонью седые, коротко остриженные волосы.

Засиживался он подолгу. Тогда из мечети прибегал невыносимо длинный, костлявый служка, как две капли воды похожий на Дон-Кихота, и трагическим шепотом возвещал, что все старики уже собрались в мечети, что время намаза наступило и муллу ждут. «Ладно, подождут!» — отмахивался старик от Дон-Кихота, опять хватаясь за чайник. Служка рысцой убегал, а наши словесные страсти разгорались еще ярче. Наконец мулла тянулся к моим часам, нахлобучивал чалму и, сердитый, уходил к своей пастве.

Однажды он предупредил меня, что завтра я должен явиться в мечеть с дурбином (так, то есть подзорной трубой, он называл мой фотоаппарат) и снять праздничное богослужение.

Изображать живые существа ислам категорически запрещает, это наложило отпечаток на всю историю искусства Востока мусульманского периода. Время стерло остроту этого запрета, люди всюду охотно фотографируются. Но инициатива в этом отношении, исходящая непосредственно из религиозных кругов, была несколько необычна.

Старики, видимо уже предупрежденные заранее, явились в мечеть прифранченные, с выстиранными чалмами, с подбритыми по закону бородами и очень торжественные. Когда все расселись на своих молитвенных ковриках под навесом летней мечети, я стал делать примерную наводку на фокус. Молитва началась, но старики еще долго, кося на меня глазами, охорашивались и принимали красивые позы. Я снимал. При каждом щелчке аппарата лица с любопытством обращались в мою сторону. Вряд ли достаточное количество молитв в этот день вознеслось к всевышнему.

Во время пятничных богослужений имам читает проповедь. Для этого он поднимается на мимбар — невысокую кафедру, держа в руках посох. Вот тогда-то я и понял, для чего была

организована вся эта фотосъемка. Когда наступила очередь вступить в кадр проповеднику, я не узнал нашего старика. Передо мной был настоящий актер. Величественно опираясь на посох, картинно придерживая полы халата и гордо вскинув вверх свою бороденку, мулла прошествовал к кафедре и поднялся на нее. Обернувшись в мою сторону, он торжественно посмотрел на меня, оба его круглых выразительных глаза были нацелены на фотоаппарат. Поглощенный съемкой, мулла вяло пробормотал свою проповедь: ему было не до паствы. Да его никто и не слушал...

Все оставшиеся дни нашего пребывания в Ханки у меня с муллой происходили отчаянные баталии: зная, что нам предстоит далекие маршруты на правый берег, в Турткуль, к мавару Наринджан, в горы Султануиздаг и ниже по реке, наш старик вбил себе в голову, что поедет с нами. Никакие доводы на него не действовали. Я доказывал, что не для его возраста подобные путешествия, что трястись сотни километров по адешним дорогам не такое уж удовольствие, что нам предстоит ночевать где попало, питаться как придется и т. д. Старик упрямо твердил свое и страшно сердился. Все же удалось в конце концов уговорить этого искателя приключений, но я знаю, что он так и затаил на меня обиду. В качестве компенсации я возил муллу по окрестным кишлакам. Немало интересных людей по совету муллы повидали мы во время этих поездок. При отсутствии муллы облегчалось установление контактов с людьми и завязывание бесед.

Ездили мы и без муллы Садуллы. Иногда без него бывали затруднения. Однажды никак не получалась беседа в семье, специфической по характеру профессии ее членов: это были служители погребального культа. Люди, видимо, боялись, не хотели говорить. Пришлось вызвать «скорую помощь»: на машине примчался мулла Садулла, провел с хозяевами дома десятиминутную беседу, убедил говорить без стеснения, и в результате мы получили исключительно ценные для нас сведения.

В чем же причина столь парадоксального явления, что служитель религии, человек, весьма чуждый вопросам современной науки, далекий от конечных целей наших исследований, стал одним из лучших наших друзей и помощников? По-видимому, их несколько.

Личные свойства человека стоят здесь, пожалуй, на первом плане. Мы, работники отряда, не раз говорили, что, не будь мулла Садулла муллой, он, живя в другое время и в иной среде, мог бы быть даровитым этнографом или историком. Об

этом свидетельствовала и несомненная тяга его к этому кругу вопросов, живой проницательный ум, стремление анализировать то или иное явление.

Сан муллы, обязанности служителя культа отнюдь не мешали ему приобщаться к нашим интересам; в отношении к своим обязанностям служителя культа у муллы сквозил несомненный скепсис, правда тщательно маскируемый. Как мог он возникнуть? Возможно, человек уже в юности пошел не по тому пути, а позднее свыкся со своим положением, и оно превратилось в скучное, шаблонное выполнение заданных обязанностей. Несомненно, оказали влияние и коренные преобразования в жизни народов Средней Азии в наше время, заставляющие думающего человека отойти от рутины и рождающие по меньшей мере равнодушие к религии. Это равнодушие я ощущал даже в самой мечети и со стороны обслуживающего персонала, и со стороны ее посетителей.

Характерно, что мулла Садулла за все эти годы никогда не пытался толковать с нами о вопросах веры и безверия, богопочитания, религиозной морали, и мы не слышали, чтобы он с кем-либо об этом говорил. Мулла отнюдь не был духовным наставником для верующих.

Мне запомнился один незначительный на первый взгляд эпизод. Однажды, заехав в Ханки, я привез старику в подарок изящной формы будильник. В шутку я сказал: «Мулла, это Вам для того, чтобы Вы не опаздывали на молитву!» Старик всегда хорошо чувствовал юмор, но на этот раз он был серьезен. Подержав будильник в руках, задумчиво проведя пальцем по его золоченому ободку, он передал его внуку, сказав: «Это ему. Пускай уж лучше он в школу не опаздывает», и внимательно посмотрел на меня, как бы спрашивая, понял ли я его.

Я вовсе не считаю его вольнодумцем. Он, конечно, по-своему верил, но верил бездумно, и его скучная вера не пересекалась с реальным существованием этого живого, любознательного старика. Мы как нечто необычное вклинились в однообразие его быта и стали для него своего рода отдушиной. Недаром было два муллы: один в мечети — вялый, нахмуренный, грызущийся со своими помощниками, другой у нас — веселый, блестящий остроумием, забывающий свой возраст и готовый на любое приключение нашей путевой жизни.

Последний раз я видел муллу Садулла весной 1968 года. Я уже раньше знал, что года два как старик совсем ослеп и не бывает в мечети. Мы, я и моя спутница, приехали к нему в кишлак. Многое изменилось. Не было уже старого дома-кре-

пости, вместо него стоял новый типовой дом. Семья сына разрослась. Старший внук, окончив школу, собирался ехать в Ташкент, держать экзамены в университет; он твердо решил стать археологом. С дедом он был очень дружен.

Муллу встретил нас так, как будто расстались мы с ним только вчера. Внешне он мало изменился, но все же годы и болезнь наложили свой отпечаток. Мулла осунулся, стал еще миниатюрнее. Старенький халат был уж очень потерт, чалма повязана кое-как. Весь он казался каким-то потухшим.

Среди подарков, привезенных мною, был крохотный, в несколько сантиметров, Коран с увеличительным стеклом, сувенир из Каира, служивший скорее амулетом. Мулла, держа его в руке, тихо сказал: «Читать я уже не могу» — и приложил коранчик к каждому незрячему глазу.

Потом был плов. Старик ожил, когда мы, как встарь, забросали его своими вопросами. Он обстоятельно ответил мне, подробно рассказал моей спутнице о старинных свадебных обрядах. Верный своему принципу наглядности, мулла, описывая, как по обычаю должна была держать себя невеста, встал, ощутив рукой стенку, принял изящную позу и, стыдливо опустив ресницы, склонился в поклоне, держа в одной руке платок. Сидевший рядом со мной молодой шофер, впервые приехавший в Хорезм, прошептал: «Нет, не может быть, что он не видит». Так в этой скромной позе стыдливой невесты и запомнился мне наш старик.

Это была последняя встреча. Осенью того же года внук написал мне, что муллы Садуллы больше нет. Трудно к этому привыкнуть. И сейчас, стоит задуматься о новых поездках по Хорезму, я ощущаю какую-то пустоту, возникшую там, в этом солнечном крае, с которым связано так много интересного, близкого и радостного.



Где бы вам ни пришлось побывать в Хорезме, какими бы путями ни пролегали ваши маршруты, на каждом шагу вам будут попадаться мазары — святилища, связанные с именем того или иного святого. Справа и слева от дороги из купы деревьев выглядят они белыми куполами и порталами, группами и в одиночку расположившись в кишлаках и на кладбищах. Вы едете по необжитой низине, увязая в грязи, и среди болот, заросших камышом, неожиданно видите мазар, примостившийся на холмике сухой земли; достичь его можно только по воде. Поднявшись на скалистые отроги хребта Султануиздаг, на голой площадке у самого откоса вы встречаете небольшой мазарчик, неизвестно как здесь оказавшийся, или просто грудку камней с воткнутыми в нее шестами, увешанными тряпочками. В большинстве своем такие мазары невелики и довольно грубо сложены из сырой глины и кирпича. Но есть в Хорезме мазары — подлинное чудо архитектуры. Чтобы взглянуть на внутреннее оформление всемирно известного купола мавзолея Тюрабек-ханым в Куны-Ургенче или на блестящую майоликовую облицовку мазара Палван-ата в Хиве, стоит побывать в этих местах.

Хорезмские святилища очень разнообразны. Кроме купольных зданий это и небольшие глинобитные строения под плоским перекрытием, напоминающие жилой дом, и просто навес — айван, и могила со знаменами над ней, огороженная или не огороженная дувалом; святилищами считаются и многие почитаемые деревья, камни, родники, целые озера.

Обилие святилищ, связанных с именами святых, — явление, исторически легко объяснимое. В жизни Средней Азии была эпоха, когда мазары вырастали как грибы. Это были первые столетия господства новой религии — ислама, когда понадобилось всеми способами вытеснить из быта людей исконные для этих мест народные верования, в огромной массе своей связанные с почитанием явлений природы. Культ святых в

этом отношении оказался весьма перспективным, старые, доисламские святилища связали легендами с мусульманскими святыми.

И в более поздние времена мазары возникали с необыкновенной легкостью. Стоило умереть какому-нибудь человеку, жизнь которого с точки зрения норм ислама считалась праведной, как могила его окружалась почитанием. Для основания мазара не требовалось особых мотивов. Часто они приобретали курьезный характер. В 1954 году я присутствовал при зарождении мазара. Это было в пригороде Куны-Ургенча. Я увидел, как старуха, вооружившись обломками кирпича, старательно что-то выкладывала из них. Оказалось, что на этом месте ей приснилось нечто возвышенное, и бабка, полная благочестивого рвения, решила воздвигнуть новый мазар. Идею сооружения мазара никто не поддержал, и она вела строительство в индивидуальном порядке. Бабка успела лишь выложить на земле какую-то геометрическую фигуру, смутно напоминающую квадрат. Дальше энтузиазма не хватило, строительство свернулось.

Разнообразны мазары, но еще более пестр состав самих святых. Сколько фантазии израсходовано при создании этих образов! Святой Палван-ата, профессиональный борец, согласно легендам, выступал на международных соревнованиях; мясник Джоумард, отец которого по неизвестным причинам пребывал в образе кабана, замыслил убийство своего ученика и погиб от руки последнего; Султан Ваис, полуголый фанатик, одевался в шкуры и отчаянно ругался с богом, требуя, чтобы тот ему дал на откуп души всех грешников; Юсуф Хамадани вылезал из могилы во время гуляний и с улыбкой наблюдал народное веселье. Аждар-бобо был до того страшен, что при его жизни люди шарахались в сторону, чтобы не попасться ему на глаза. Кечирмас-бобо, то есть «не прощающий», уничтожил компанию молодых людей, слишком шумно проезжавших на арбе мимо его могилы.

Мазары, которые мне за все эти годы удалось посетить, далеко выходят за пределы сотни. Знакомые старики, посмеиваясь, не раз говорили, что мне давно уже пора присвоить «звание» ходжи: во многих местах семикратное посещение мазара приравнивается к паломничеству в Мекку.

Приходилось наблюдать мне и сам ритуал паломничества к мазару. Но все это были какие-то отрывочные впечатления, которые объяснялись постоянной торопливостью, недостатком времени, всегда подгонявшим во время наших разъездов по оазису.

Но однажды мне привелось пройти через все этапы традиционного паломничества. Это был редкий случай. Причем я был не один, я только сопровождал целую группу женщин, специально замысливших это предприятие.

Случилось это той же памятной осенью в Ханки, когда мы с Гульнур-апа проживали во дворике у нашей приятельницы Момоджан, и старики рассказывали нам легенды, а женщины, собиравшиеся к нам со всего квартала, помогали «инвентаризировать» духов — злых, не очень злых и совсем добрых.

Однажды, когда соседки чуть не за полночь засиделись у нас, заговорили о Гюлли-бии. Тогда мы впервые услышали это имя, в переводе означающее «цветочная госпожа». Оказалось, что усыпальница этой святой девицы находится в кишлаке совсем недалеко от Ханки и очень популярна среди женщин округи.

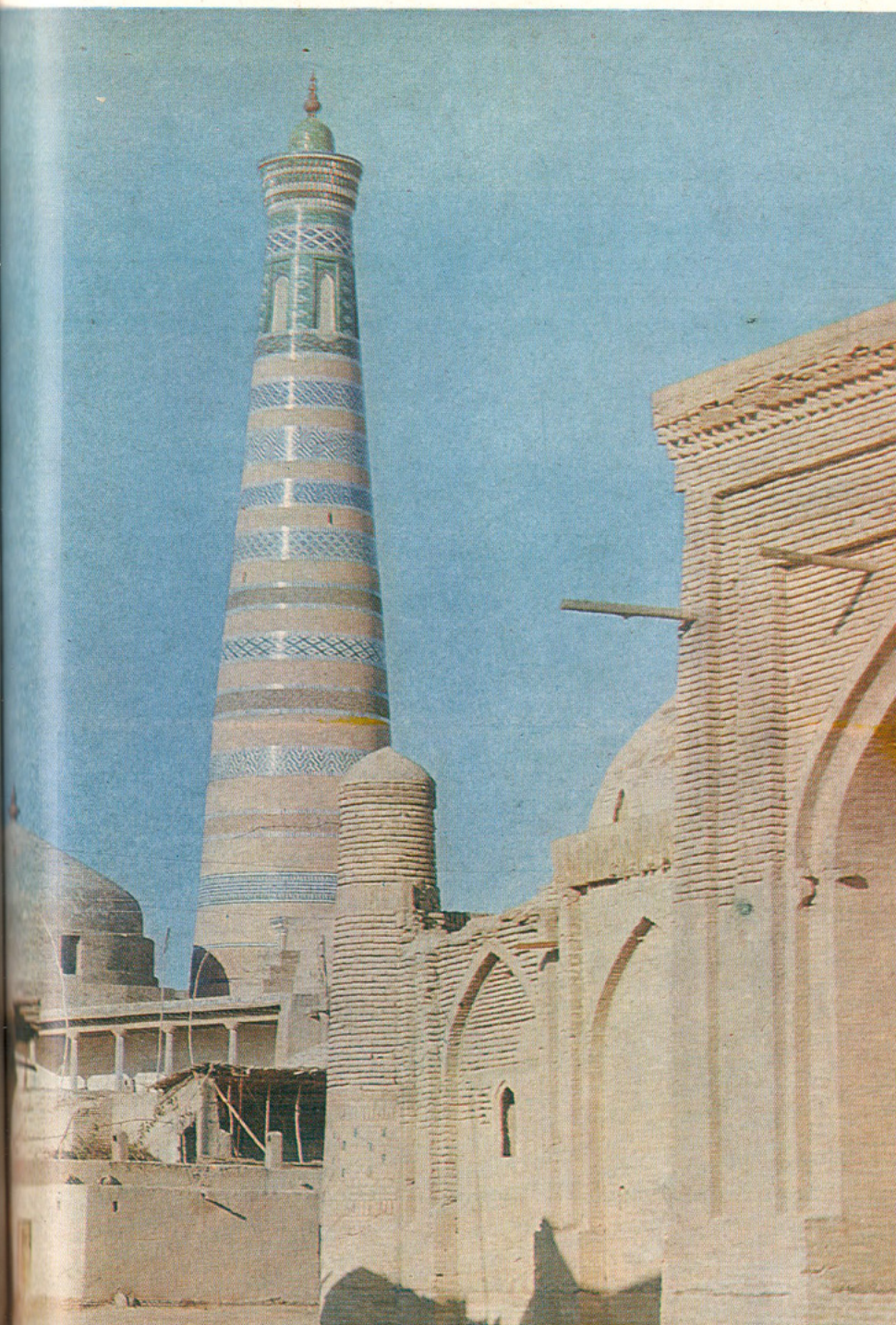
О самой Гюлли-бии соседки не смогли рассказать ничего внятного. То она рисовалась весьма реальной ишанской¹ дочкой, очень праведной, совершившей одно благое дело — отыскавшей на правом берегу Амударьи всеми забытую могилу Абдуллы Наринджани, одного из миссионеров раннего ислама; то образ Гюлли-бии отодвигался куда-то в глубину столетий, терял свою четкость и сливался с образами древних божеств растительности.

Одно было очевидным: к мазару Гюлли-бии совершались паломничества, и ими руководили люди, обосновавшиеся около гробницы святой. Кто были эти люди? Со слов наших собеседниц вырисовывались весьма любопытные подробности: весь культ Гюлли-бии был чисто женским; женщины, родственницы ишанов, стерегли гробницу; они же устраивали джахры — молитвенные радения, во время которых практиковалось и «лечение» больных. И еще одно, пожалуй самое интересное, обстоятельство: женщины, обосновавшиеся при мазаре святой деви, сами дали обет безбрачия.

— Э, Гюлли-бии, чистейшая! — стонала Дурки-момо. — Ах, побывать бы у твоего порога, поговорить бы с невинными девами, охраняющими твою могилу!

Рассказанное в тот вечер нас очень заинтересовало. Как будто бы столетия разверзлись и всплыло седое прошлое человечества: Древний Восток с его храмами прекрасных богинь, с торжественными церемониями в их честь, с толпами жриц, давших обет безбрачия и посвятивших себя служению божеству. И вместе с тем все это казалось невероятным. Стран-

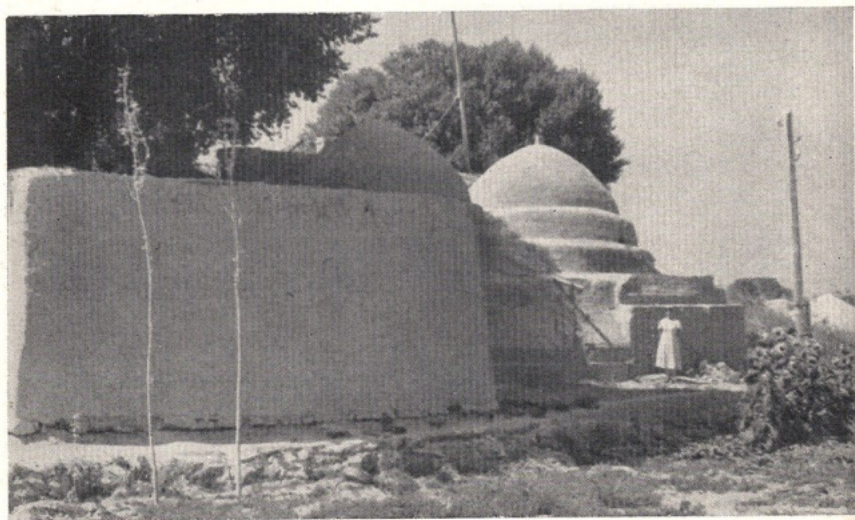
¹ Ишаны — духовные наставники мистических общин.



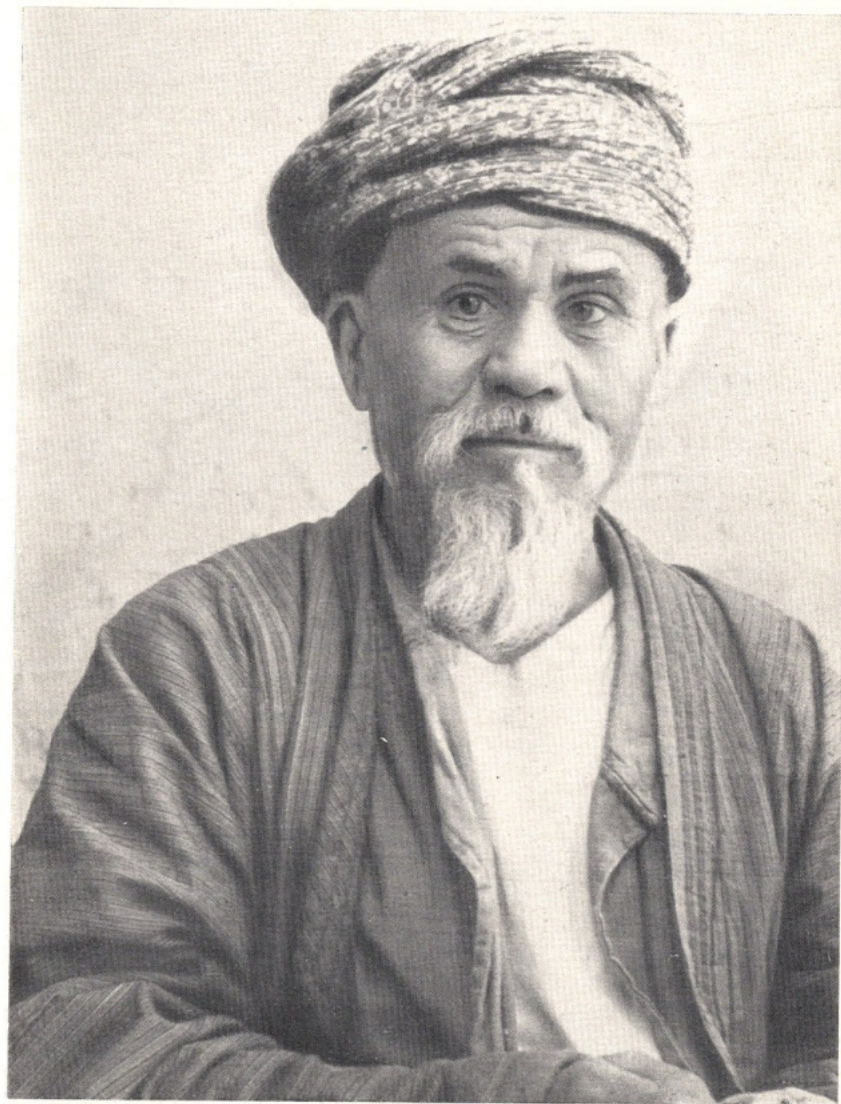
◀ Государственный архитектурный заповедник Ичан-кала в Хиве
Минарет Ислам-ходжи

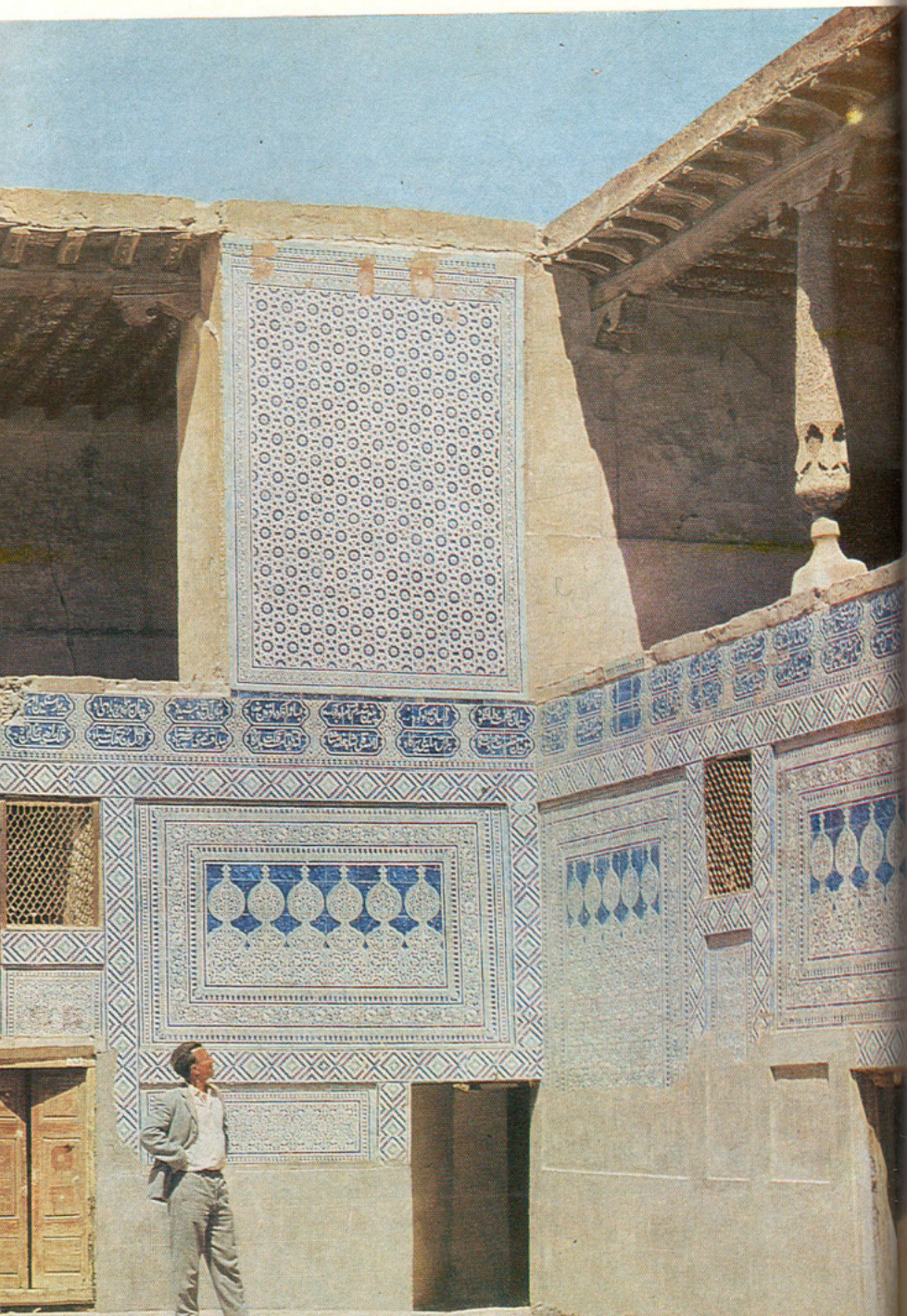
Ханкинские старики провожают наш отряд

Мазар Гюлли-бии



Мулла Садулла





◀ Интерьер в ханском дворце Теш-хаули

Ханкинские женщины за приготовлением ритуального печенья

Наши собеседники — шейхи из села Беш-Мерген



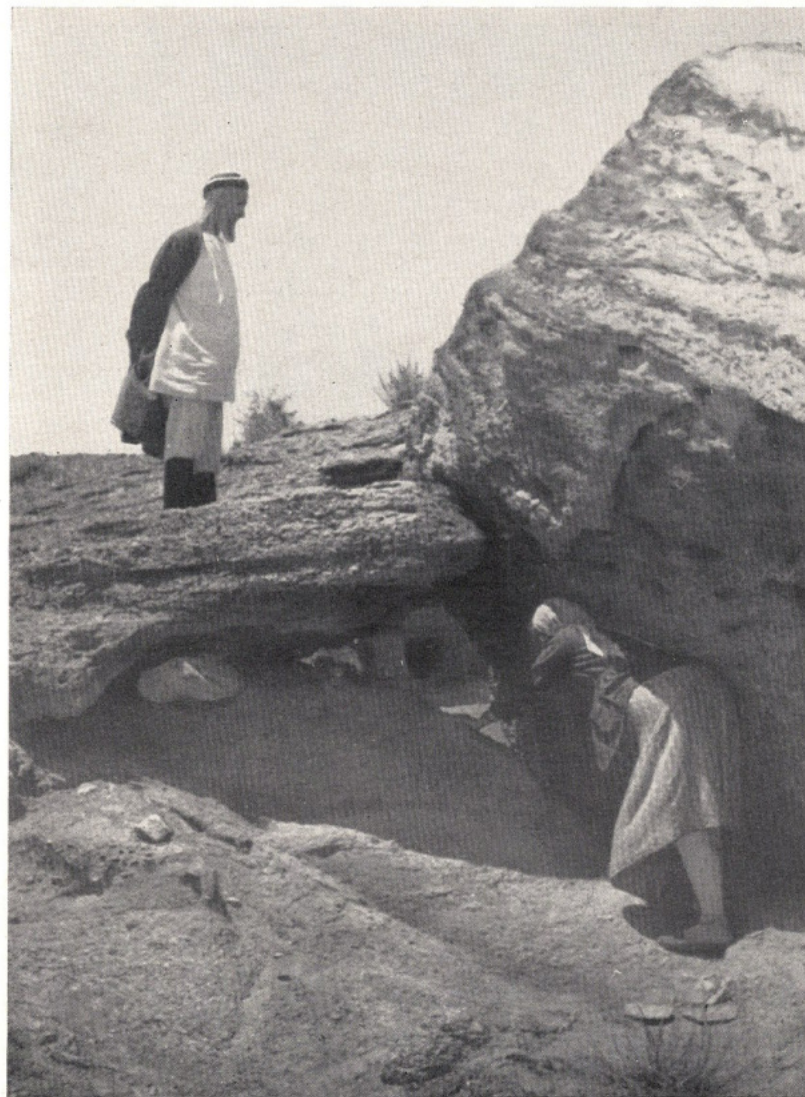
Святилище в горах Каратау



Здание Дома Советов в Ургенче

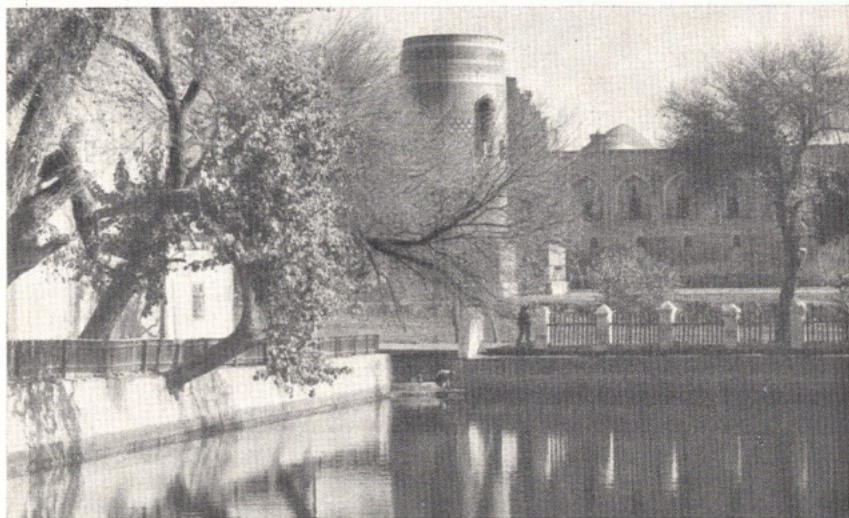


Место паломничества в предгорьях Султануиздага



«Домики» для душ умерших в Куня-Ургенче

Один из уголков старой Хивы



Гульнур-апа беседует с хивинкой



Улочка около старого ханского дворца в Хиве

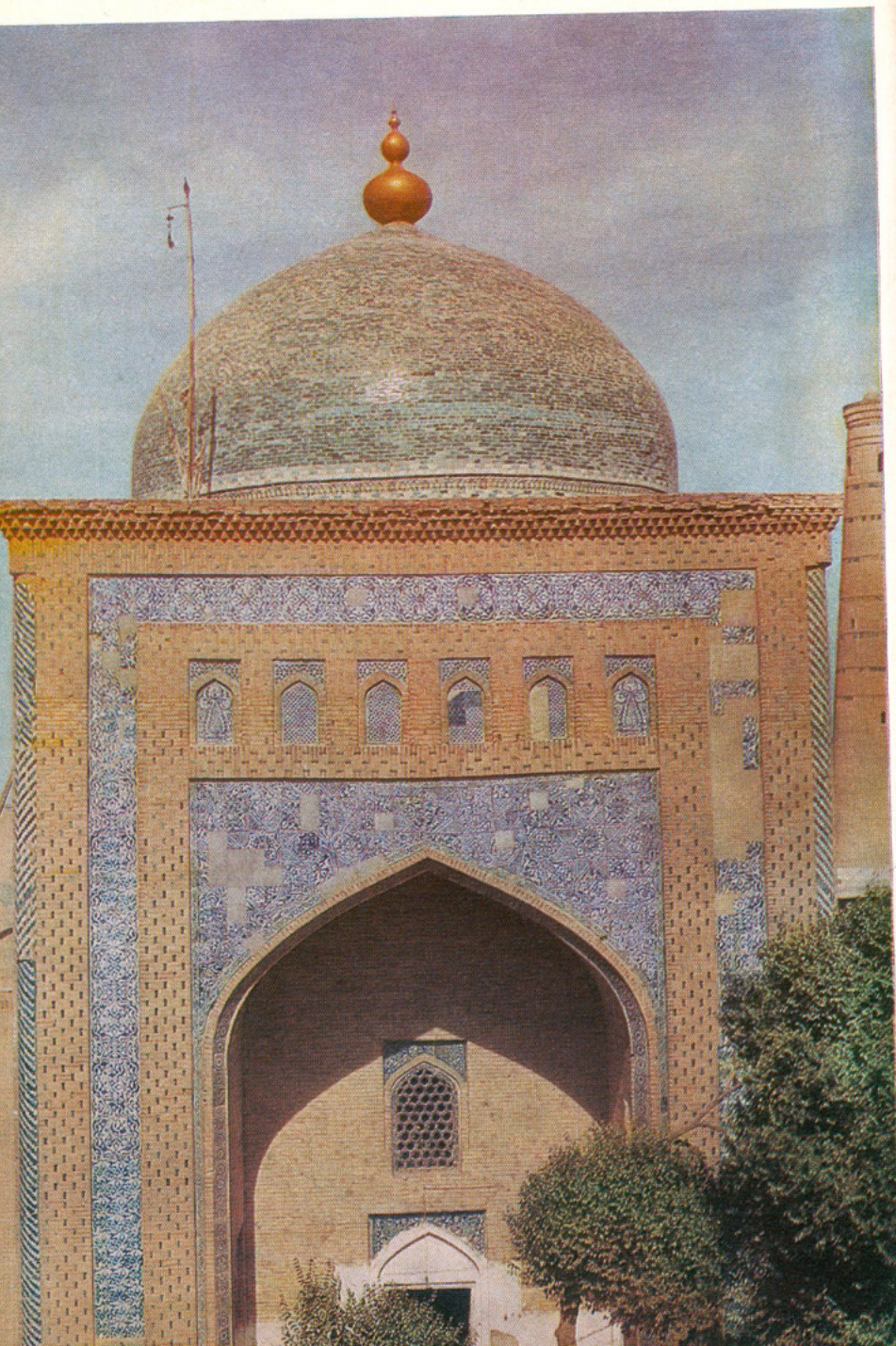


Одно из хорезмских кладбищ



Насосная установка на арыке Палван





◀ Мавзолей Пахлаван-Махмуда в Хиве

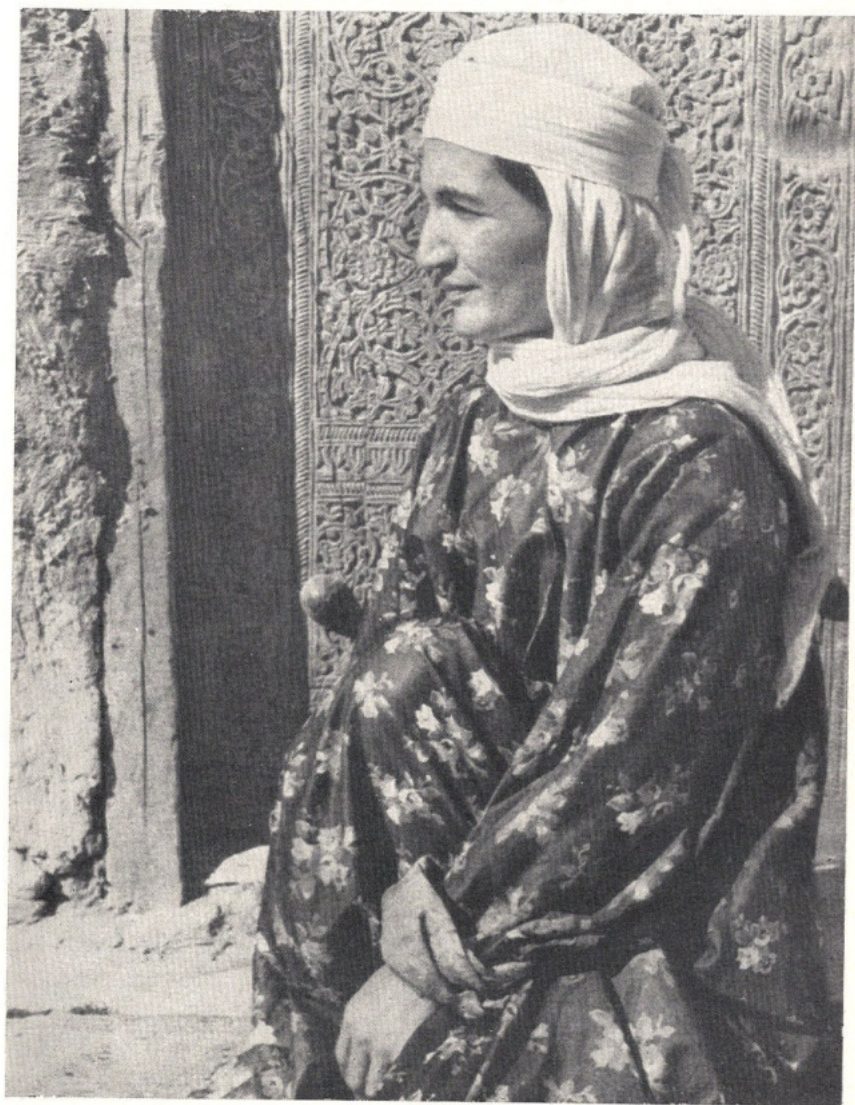
Дурки-момо

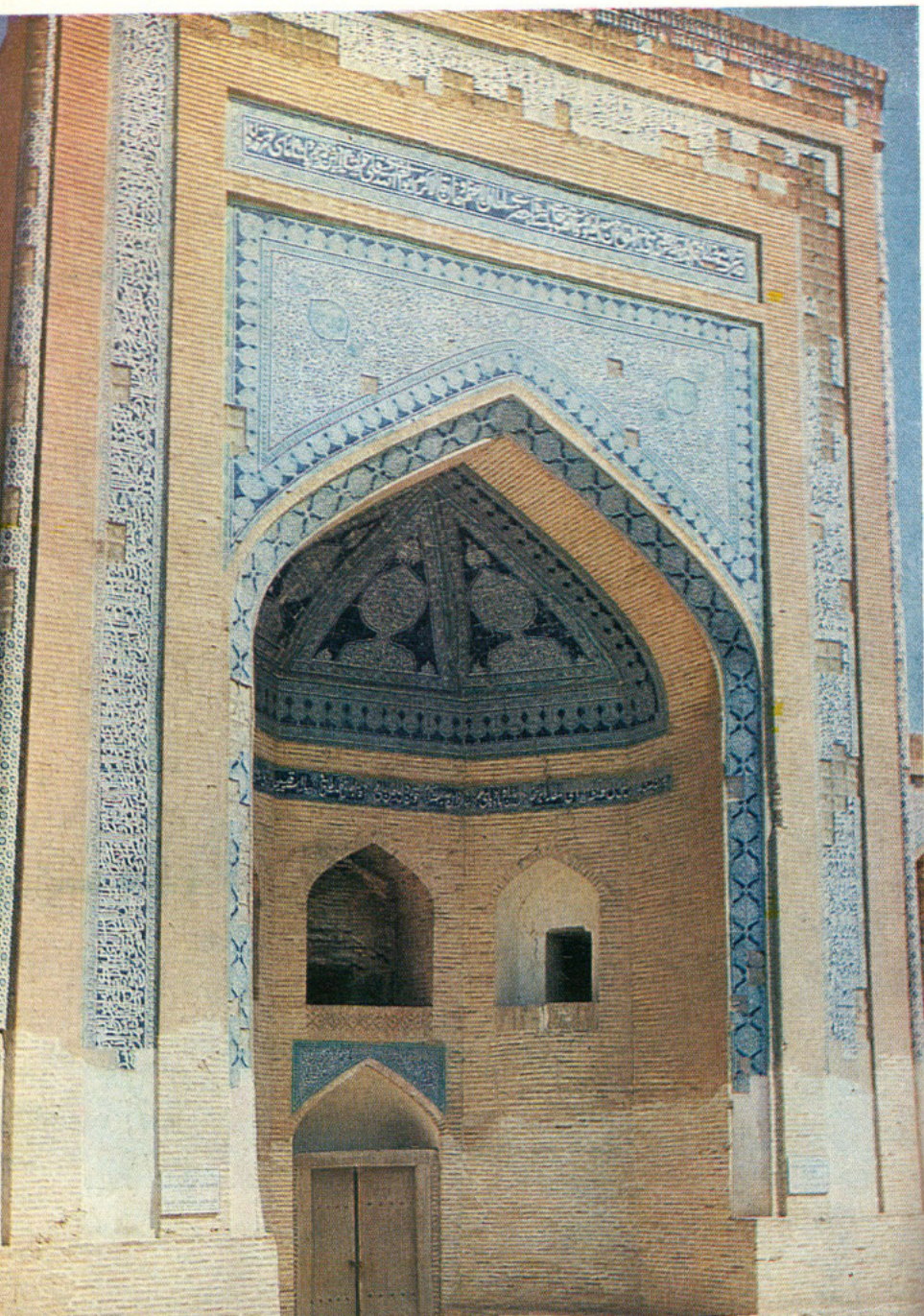


Старая сельская усадьба — хаули



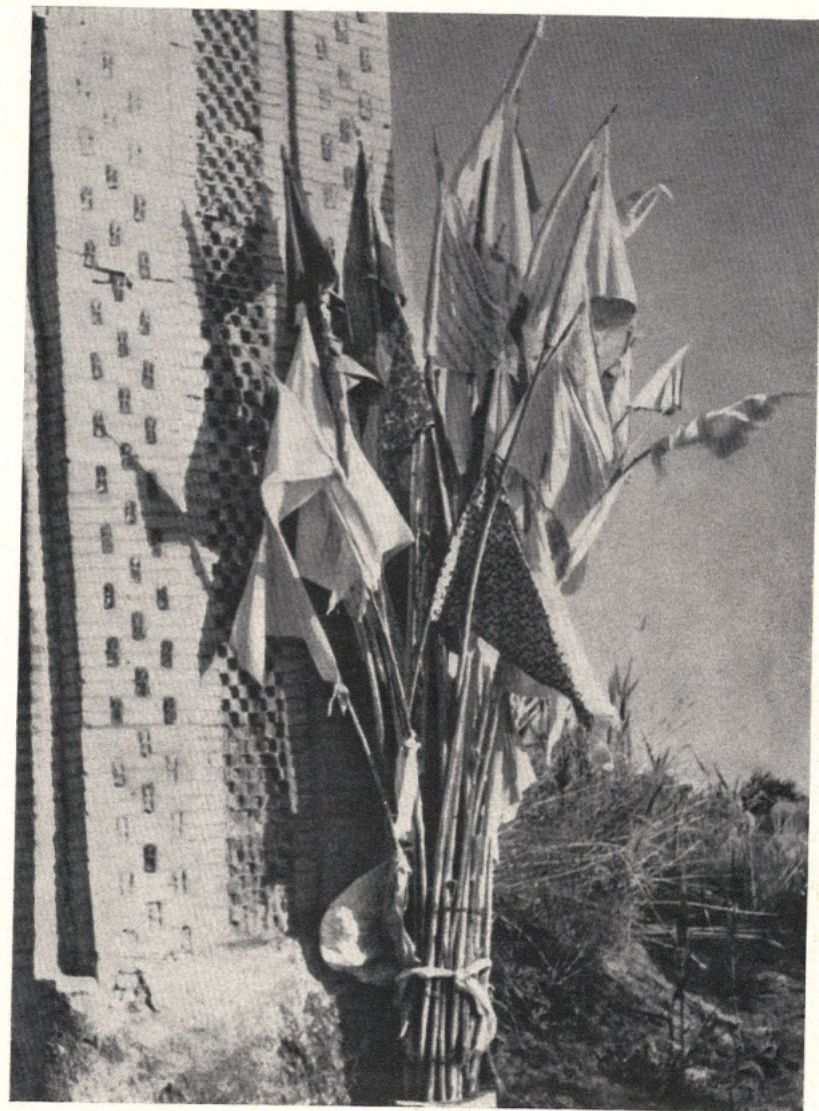
Жительница Ханки





◀ Медресе Аллакули-хана в Хиве

Флаги перед мазаром Шахи-Мордона



Отделка нового дома

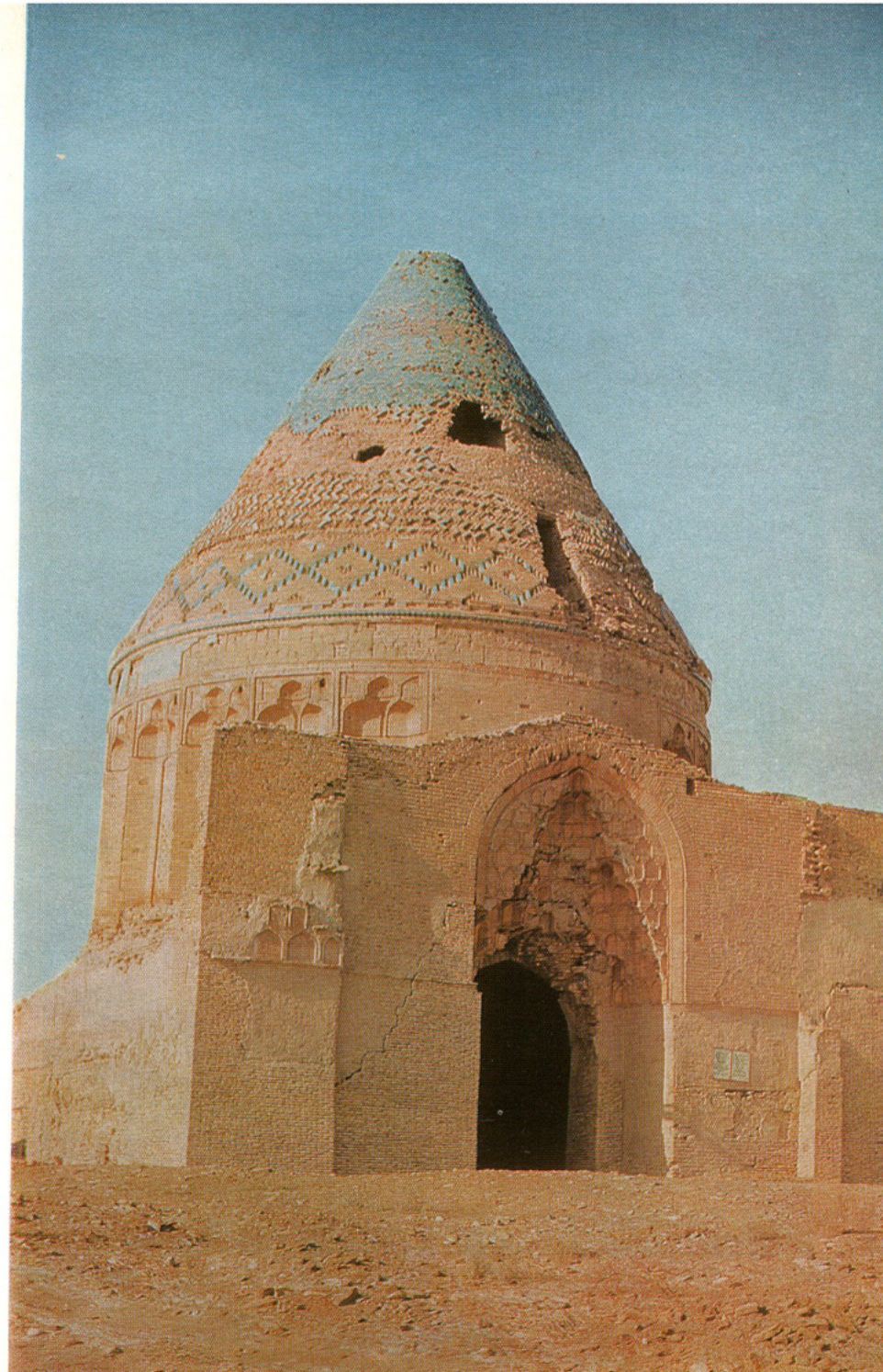
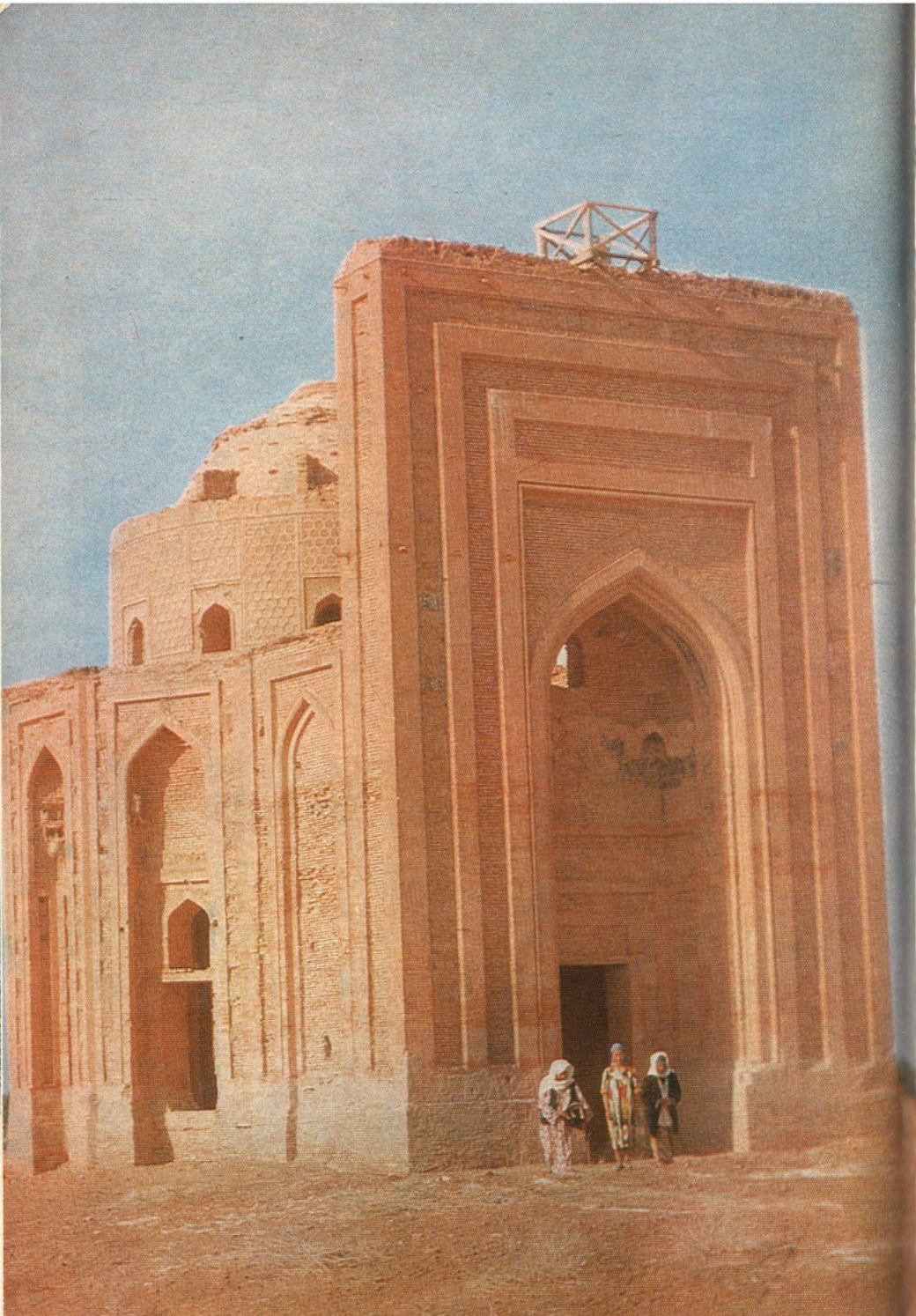


Строительство нового дома (кумак)

Новый жилой микрорайон в Ургенче

Мавзолей Тюрабек-ханум в Куни-Ургенче ►





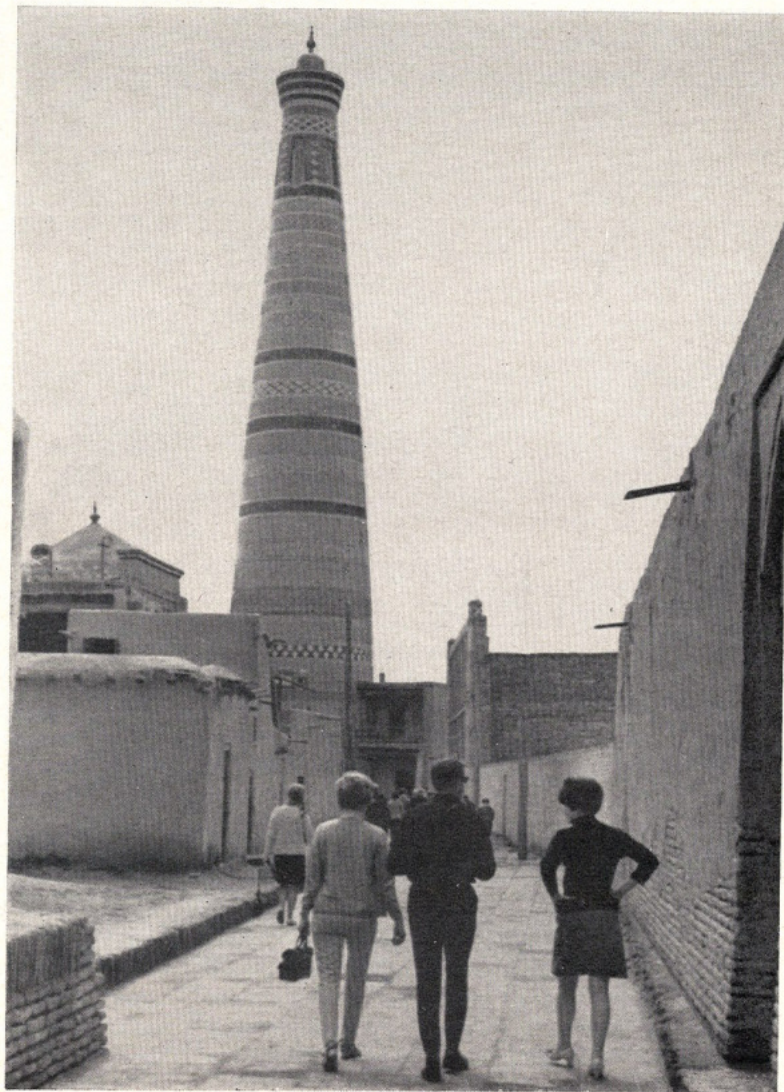
◀ Мавзолей шейха Шерефа в Куня-Ургенче

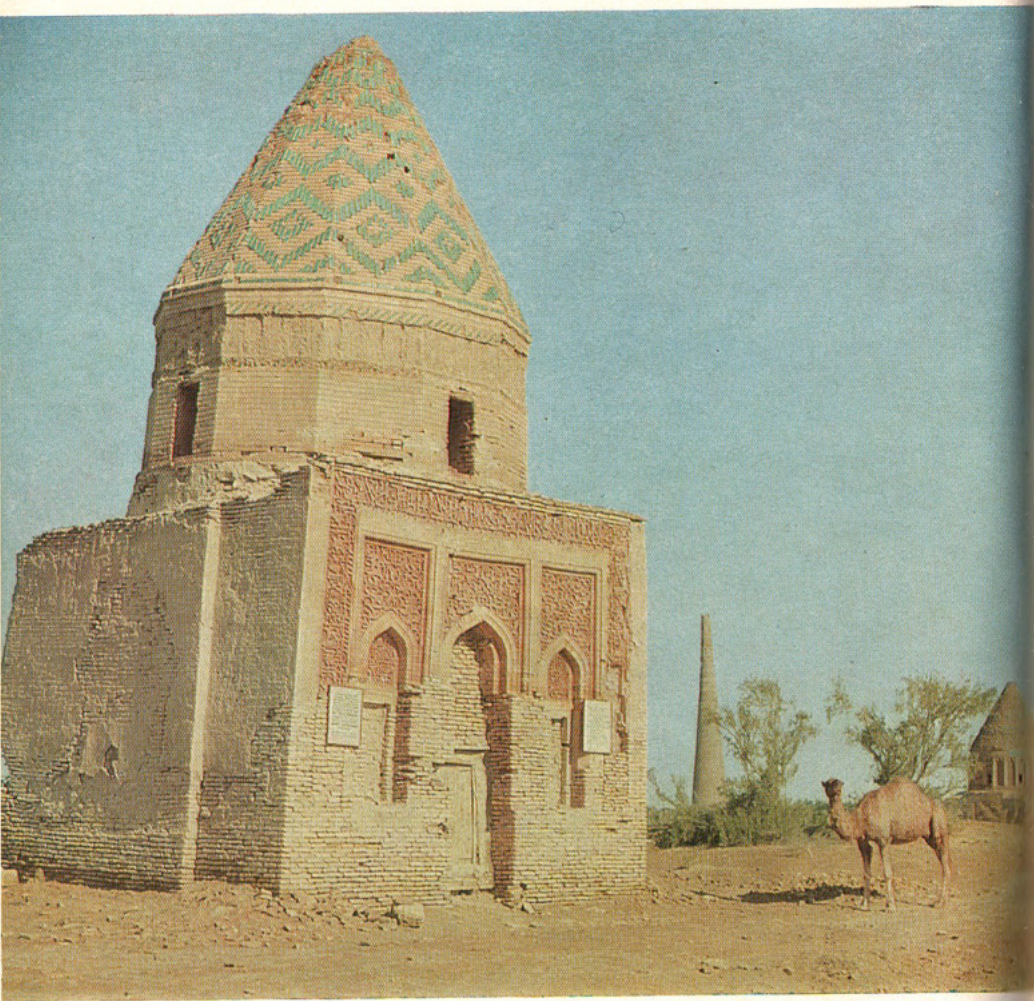
В пойме Амударьи у подножия Каратау

Паломники поднимаются на священный холм в горах Султануиздаг



Туристы в Ичан-кале





ствуя годами по Южному Приаралью, мы немало интересного извлекали из более или менее отдаленного прошлого. Но хорошо видя и ощущая настоящее этого края, края процветающего, передового хозяйства и культуры, нового социалистического быта, нового сознания людей, мы никак не думали, что увидим последние пережитки в столь колоритном выражении.

Или здесь что-то не так нами понято, рассуждали мы с Гультур-апа, или мы столкнулись с явлением, каким-то чудом задержавшимся в женской среде, с последним вздохом некоего умирающего культа. Если это так, то какие же мы этнографы, если не постараемся проверить и зафиксировать его детали? Однако мы решили не форсировать событий и ждать случая.

Наши милые собеседницы так разохались и разохались в тот вечер о Гюлли-бии, так воспылали (без каких-либо видимых причин) любовью к святой девице, что следовало ожидать продолжения этого разговора. Мы не ошиблись. Через два дня к нам на двор явилась депутация от наших соседок во главе со старой Дурки-момо, которая в слегка ультимативной форме предложила отвезти на нашей машине к мазару Гюлли-бии группу ханкинских женщин, жаждущих припасть к порогу усыпальницы.

Я был в затруднении. Выполнить просьбу означало потакать всяким отживающим явлениям. С другой стороны, и Дурки-момо, и другие просительницы были нашими собеседницами, нашими помощницами; они много нам рассказывали, их сведения были ценны. Как можно было им отказать? К тому же, если мы не дадим машину и не поедem сами, нам, быть может, уже никогда не представится случай разобраться в том, что происходит у мазара Гюлли-бии, и зафиксировать все этапы паломничества. И мы решились.

Неожиданно идея паломничества встретила ярого противника в лице нашего муллы Садуллы, который сказал решительное «Йок!» (нет), когда мы поделились с ним планами поездки. Обосновать свой протест мулла ничем не мог. Но я-то понимал, в чем дело. Старик попросту обиделся. Давно уже он привык играть главную роль во всех поисках московских ученых. Делить лавры с какой-то женщиной, которой теперь предстояло руководить нами на стезе паломничества, — нет, это был слишком чувствительный удар по самолюбию старика. Ехать же самому в машине, битком набитой болтливыми женщинами, затеряться в их платках, узлах, в машине, в которой Садулла привык показываться всему городу, — это было несовместимо с его чувством мужского превосходства.

Мулла надулся и дал понять, что умывает руки и ничего не хочет знать о поездке. Мы оставили его в покое; я хорошо знал, что он в конце концов простит нас.

В назначенное утро в наш переулок сошлось немало женщин. Отъезжавшие были в торжественно приподнятом настроении и заранее делали благочестивые мины. Одеты они были в праздничные наряды: пожилые — в белое с черным, молодые — во все цвета радуги. На головах старух были роскошные тюрбаны, в этот день особенно высокие, узкие и белоснежные. В свежевystиранных дастарханах таились горы лепешек и сластей.

Наша Момоджан взяла с собой пятнадцатилетнюю дочь, капризную и строптивую красавицу, надеясь, что святая наставит ее на путь истинный. Было несколько маленьких детей. Гидом была, конечно, Дурки-момо. Высокая, костлявая, необычайно подвижная, она, как знаток всяких ритуалов, пользовалась уважением; кроме нее, никто не смог бы с таким успехом выполнить роль нашего экскурсовода.

В последний момент меня взяли сомнения: не буду ли я лишним в этой женской компании, не помешаю ли я? Свои опасения я высказал Дурки-момо. Из ее скороговорки я понял, что нечего мне выдумывать, что ехать необходимо. Я влез в машину.

В «козла» набилось человек двенадцать. Иван Иванович развел было руками, но я успокоил его — ехать совсем недалеко. «Козел» зарычал, рванулся, лес белоснежных тюрбанов качнулся назад, ребятишки радостно пискнули, и мы понеслись в клубах пыли. Женщины зажимали носы платочками и томно охали; так требовал этикет торжественного выезда, хотя дома, на своих родных улицах, они могли часами болтать, никакого внимания не обращая на тучи пыли от проносящегося транспорта.

С ургенчской дороги машина свернула на проселочную. Ехали вдоль арыка под низко нависшими ветвями джиды; встречные с любопытством поглядывали на нашу нарядную компанию. Вскоре показался кишлак. Дурки-момо, стоя в машине, как капитан на мостике, показывала направление.

Остановились мы около маленького домика. Здесь жила старая Айша. Айша-бии была достопримечательностью этих мест. Прибывавших паломников прежде всего вели лицезреть это чудо. Пожалуй, старая Айша успешно соперничала в популярности с самой Гюлли-бии, которой посвятила всю свою жизнь. А жизнь ее была длинная: в ту пору Айше шел сто седьмой год.

Совсем недавно Айша-бии хозяйничала на мазаре. Но теперь Айша больна, она совсем плоха. Нет-нет, видеть ее, конечно, можно! Так встретили нас у калитки ее невестки, привычные к таким посещениям, ласковые и умильные, радостно поглядывая на привезенные узлы.

Мы вошли в дом. В коридоре было темно, но на суфе что-то серело. Видны были очертания человеческой фигуры. Это была Айша. Женщины здоровались с ней и выходили на маленький дворик. Полукругом они рассаживались на паласах; сзади них пристроился и я. Все молчали.

Огороженный низким дувалом дворик был залит солнцем. Над сочной зеленой фруктовых деревьев ярко голубело небо. И в это ликование света и цвета вошло страшное видение: из темной двери две дюжие женщины вытащили старую Айшу. Ноги старухи волочились по земле, узкие острые плечи были подняты, голова безжизненно моталась в разные стороны. Айшу посадили, прислонив к стене и подперев с боков подушками.

Айша, когда-то высокая и сильная, превратилась теперь в жалкий комок человеческой плоти, в которой еле-еле теплилась искорка жизни. На старухе было совершенно потерявшее первоначальный цвет бурое от грязи платье с вертикальным воротом, обнажавшим ее кости. На голове когда-то белая, а теперь серая большая чалма. Чалма размоталась, и ее грязные жгуты болтались во все стороны. Определить черты лица было невозможно: все оно вдоль и поперек было изборождено глубокими морщинами; тускло и беспомощно смотрели полузакрытые глаза, в них было не сто, а тысяча лет.

Все кругом замерли, пораженные этим зрелищем; только невестки у очага громко и весело переговаривались, готовя чай.

— Вай, какая она стала! — прошептала Дурки-момо. — А давно ли птицей летала по комнате во время джахров?!

Еще тяжело дыша, старуха понемногу успокаивалась после такого трудного для нее выхода на люди. Она ни на кого не смотрела, ничто ее не заинтересовало. Было ясно, что старая женщина бесконечно устала, и прежде всего от этих постоянных посещений чужих людей, которым предприимчивая родня демонстрирует ее, Айшу, как некий феномен долголетия и святости. Этим невесткам и помощницам, красивым, нарядным и упитанным, жестоким в своей корысти, даже на ум не приходит, что они эксплуатируют очень старого и очень больного человека.

— Но почему такое грязное платье? — тихо спросила Гульнур-апа у невестки, когда та стелила дастархан.

Женщина явно смутилась, но потом нашлась:

— Сейчас месяц траура — имам ой, когда не полагается надевать ничего чистого.

Я видел, как Гульнур-апа оглядела белоснежное платье невестки. Было очевидно, что старая Айша в полном пренебрежении, что никто в семье не ухаживает за ней и вспоминают о старухе, лишь когда наступает ее выход в этом спектакле. Любопытно, что ни одна из этих женщин не догадалась даже привести в порядок размотавшуюся чалму старухи. А впрочем, невестки считали, возможно, что в таком виде старуха более эффектна.

Одна из невесток сунула в руки Айше пиалу с размочеными в чае кусками лепешки. Старуха привычным движением ухватила ее своей большой костлявой рукой. Негнущимися пальцами она доставала кусочки хлеба, медленно несла ко рту и жевала беззубыми деснами. Женщины кругом тихо перешептывались. Потом пиала старухи пошла по кругу.

Помощница Айши, пожилая уже женщина с иконописным лицом, вынесла из дома привезенные подарки — отрезки материи, платки, пачки чая, сахара, лепешки. Все это поочередно клалось на колени старухи, и та своей безжизненной рукой только прикасалась к подношениям, не разглядывая, не оценивая даров; равнодушная ко всему, она смотрела куда-то вдаль.

Во дворе появились новые паломницы; одна из них привела козленка. Козленка привязали тут же к дереву, — вероятно, в назидание нашим ханкинским женщинам, подношения которых были весьма умеренными.

А для Айши началось новое, пожалуй самое мучительное, испытание. Это было «лечение» больных. С двух сторон невестки принялись тормошить старуху, чтобы вывести ее из состояния протрации. Они подталкивали ее в бок, громко кричали ей в уши. Какое-то детское, растерянное выражение появилось на лице Айши. Она испуганно поворачивала голову то к одной, то к другой невестке. Потом, видимо, поняв, что от нее требуется, она собрала последние силы. Женщины поочередно садились против Айши, и она, протянув дрожащие руки, слегка сжимала ими виски пациентки, дула и плевала в лицо страждущей, то есть совершала обряд куф-суф. Это было одновременно и «лечение», и благословение, и профилактика. Считалось, что особая сакральная сила, заключенная в Айше, должна передаваться пациенту.

«Лечение» совсем измотало старуху. Она прилегла на бок, прижавшись щекой к подушке. Паломницы пили чай и оживленно обсуждали виденное.

Красивая помощница, поджимая губы, рассказывала о болезни Айши. Старуха ослабела уже давно; она стала ко всему безучастна, все больше лежала и спала, иногда стонала, глядя в одну точку.

— Она совсем перестала исполнять свои обязанности, — возмущалась помощница.

Потом Айша опять вяло пила чай. И вдруг она заговорила. Тихие и бессвязные вначале фразы, отдельные слова постепенно набирали силу. Голос ее окреп, в нем появились нотки возмущения. Глаза старухи ожили. Она привстала на коленях и выпрямила корпус. Она говорила с кем-то поверх наших голов. «Это пришли ее пиры — покровители, духи умерших ишанов», — шепотом поясняла помощница. Медленно, дрожащей рукой Айша протянула кому-то невидимому свою пиалу. Все продолжалось одно мгновение. Затем старуха устало махнула рукой: «Кет!» (уйди). Пиала выпала из ее руки, и Айша снова сникла.

Из всего спектакля, детально разработанного для демонстрации старой Айши, этот последний эпизод не был предусмотрен сценарием; только теперь старая фанатичка была сама собой, желали того окружающие или нет. Но на женщин экстаз старухи произвел самое сильное впечатление: все было таинственным и непонятным.

Айше опять сунули в руки пиалу. Женщины тихо говорили о своих болезнях и несчастьях. Молодая женщина, приведенная козленка, была особенно удручена: рождавшиеся в ее семье дети умирали. Другая жаловалась на постоянные головокружения. Предлоги для посещения мазара были самые разнообразные. И только наша Дурки-момо явилась сюда просто по старой привычке. Она поглядывала на всех нас своими хитроватыми глазками, проверяя, какое впечатление производит на окружающих весь этот спектакль.

Солнце опускалось; длинные тени перерезали двор. В арык пустили воду, и она зажурчала под деревьями. Потянуло дымком от очагов. С улицы доносились голоса людей, возвращавшихся с хлопковых полей; пронесся мотоцикл. Там, за этими стенами, была середина XX столетия, здесь притаилось средневековье.

Посещение шло к концу. Все устали пить чай и делать благоговейные лица.

Вдруг во двор с криком ворвался пухлый человек лет трех,

босой, в замазанной рубашонке, с лихо надетой тюбетейкой. С размаха он кинулся на колени к старой Айше, одновременно ухватив кусок лепешки. Он жевал, оглядывая всех глазами-вишенками. А старуха крепко стиснула его своими руками, прижалась щекой к его плечу: она грелась около этого теплого комочка. Лицо ее изменилось. Что-то мягкое, осмысленное и скорбное появилось в ее глазах. И сразу стало заметно, как потрясаяще стара была эта женщина.

Паломники сворачивали дастарханы и хвалили правнука старой Айши. Всем уже не терпелось выйти на улицу. Никто не заметил, как где-то далеко родился посторонний звук, он приближался, становился все слышнее, громче, и вот над нашими головами с ревом пронесся самолет. На него не обратили внимания. И только парнишка запрыгал на коленях старухи, звонко засмеялся и, крича что-то на своем ребячьем языке, протянул ручонки вверх.

Все, попрощавшись, вышли на улицу и пошли в сторону мазара. Истомившись долгим почтительным молчанием, наши женщины стрекотали как сороки: Айша произвела впечатление. Каждое ее движение стало предметом дискуссий.

Я оглянулся. С противоположной стороны улицы хорошо был виден двор Айши. Он был пуст. Невестки и помощницы, наверное, сейчас в доме делят между собой подношения. Парнишка убежал. И только у стены ворохом серой одежды лежала старая Айша. Она была одна. На сегодня роль сыграна, и она опять никому не нужна. У дерева блеял жертвенный козленок.

Мазар Гюлли-бии был в конце улицы. Само здание невелико, но большой белоснежный купол, своей тяжестью как бы втиснувший его в землю, придавал ему некоторую оригинальность. Все было в зелени старых деревьев. В их тени около входа в мазар нас уже ожидала высокая плотная старуха в белом тюрбане, с властным лицом и черными пронзительными глазами. Поодаль, около дома, где собирались паломники, их поджидали две немолодые женщины. Это и были те «невинные девы», служительницы Гюлли-бии, пообщаться с которыми так мечтала Дурки-момо.

Как позднее мы узнали от всезнающей Дурки-момо, к моменту нашего появления около мазара «невинные девы» сущили бараньи шкуры, скопившиеся за последние дни паломничества, и, завидев издали мои очки и фотоаппарат, быстро все убрали.

Нас привели на маленький дворик, который служил как бы преддверием самой гробницы, вернее, двух, так как рядом

с помещением, где находилась могила Гюлли-бии, было еще одно: там покоился некий Вапа-ишан, не то дядя, не то дальний родственник святой девицы.

Чем больше мы расспрашивали, стараясь узнать что-либо толковое о Гюлли-бии, тем больше все запутывалось. Никто ничего не знал. Всплывали имена все новых и новых праведных дев — Киз-бии, Улы-бии и других, имевших в разные времена отношение к мазару. Мы «заблудились» в этих именах, и сама «цветочная госпожа» утонула в этом океане праведниц. Распутать ее родословную оказалось делом безнадежным.

Сам обряд поклонения гробнице не дал ничего нового по сравнению с тем, что мне уже десятки раз приходилось наблюдать на других мазарах. Женщины попарно припадали к порогу помещения у открытых дверей, прижимаясь к нему лбом, брали пыль, кусочки глины и натирали себе лицо, руки, плечи. Особое внимание уделялось растущему на дворе священному дереву, сок которого стекал в жестяную банку. Этим соком мазали себя, вокруг дерева трижды обходили. Молодая женщина, приведшая козленка, дабы услужить «святой», старательно собирала в пригоршни мусор на дворе и относила его в угол. Некоторые, особенно усердные, прижимались ко всем стенкам, углам, косякам усыпальницы. Все это выглядело деловито и привычно. Если спросить любую из женщин, что означает каждое из этих действий, внятного ответа не получишь. В лучшем случае скажут, что все окружающее здесь свято.

Но наши спутницы, все до неузнаваемости измазанные пылью, глиной и соком, покидали мазар сияющие и довольные. Зиарат — паломничество — был совершен. Забегая вперед, скажу, что уже через два дня они и не вспоминали о своем богоугодном турне.

Было уже темно, когда мы вслед за «невинной девой» с пронзительными глазами пошли в соседний дом.

В этой огромной глинобитной «крепости» наших женщин провели на внутренний айван. Чтобы никого не смущать, я остался в полутемном коридоре на суфе; через открытую дверь мне было все видно.

Внутренний айван был старинного образца, с дымовым отверстием в потолке. Стены его были аккуратно оштукатурены. На полу лежали паласы, одеяла и подушки. На них тесным кругом расположилось двадцать — двадцать пять женщин разного возраста. В полумраке белели платья и тюрбаны старух, женщины перешептывались.

Потом сразу стало светло. Это в круг впорхнули две девушки с большими лампами «молния». В широких алых платьях, с извивающимися черными косичками, они, как мотыльки, мелькали в центре круга около ламп, устанавливая их и раскладывая одеяла: они готовили место для главных действующих лиц.

Ими оказались две женщины почтенного возраста, которые важно проплыли через комнату и водрузились в центре на разостланных одеялах. Это были бии-хальфа — чтицы религиозных текстов. Та, что постарше, оглядела поверх очков присутствовавших и подала знак. Чтение началось. Читали они поочередно, с начала до конца сохранив на своих лицах каменное, мертвое выражение.

Читалось религиозное сказание о жизни и гибели Хасана и Хусейна, внуков пророка Мухаммеда. Кое-кто вздыхал и тихонько хныкал. Но хныкали, только когда произносились имена: их знали; остальное содержание до слушателей не доходило.

В конце первого часа чтения я в полном изнеможении от скуки вышел из дома покурить. В темноте ко мне подсел старик. Как выяснилось позднее, это был сын старой Айши. Я стал расспрашивать его о Гюлли-бии в надежде услышать что-то более обстоятельное, нежели сбивчивые и полные эмоций восторги женщин. Но старик так окончательно все запутал, что я в конце концов в сердцах бросил папиросу и вернулся на свой наблюдательный пункт.

Одного взгляда на айван было достаточно, чтобы убедиться, что изнемог от скуки не только я. Круг слушателей поредел. Две-три старухи клевали носом, молодая женщина спала, полуоткрыв рот и посапывая, две другие шептались. С выражением усталости и смертной тоски в мою сторону посмотрела Гульнур-апа. А конца не предвиделось.

Я ушел к машине, стоявшей под деревьями у дороги. Иван Иванович включил переноску, и я взялся за дневник. Кишлак спал, все огни погасли. Даже собаки не лаiali.

Наверное, был уже двенадцатый час, когда к машине из темноты потянулись наши паломницы. Все помалкивали, рассяживаясь в машине, злые и голодные. Даже Дурки-момо перестала ахать и восторгаться. Ехали молча. Вдруг дочка Момоджан и ее подружка-ровесница, спрятавшиеся в самый угол кузова, затаили: «И кто его знает, чего он моргает...» На девочек заикали всей машиной.

Так мы совершили паломничество к порогу святой девы. Джахра — радения — мы так и не увидели. Но Дурки-момо

рассказала, как они протекали на мазаре Гюлли-бии в том же доме раньше. Начинался джахр с чтения молитв. Читала бии-хальфа. Все кругом плакали. Потом появлялись супы, главные участницы радений. Поворачиваясь с боку на бок, они вкатывались через открытые двери и садились против бии-хальфа. Затем супы начинали приходить в возбуждение, взмахивать руками, хлопать в ладоши. Тут уж поскорее убирали лампы, книги, посуду. Все становилось в круг и передвигались одна за другой с криком «Ху! Хак!».

Дурки-момо преподала нам, так сказать, тесрию джахра. Практика последовала позднее. Однажды, возвратясь днем домой, я открыл калитку и остолбенел. Момоджан, Гульнур-апа и Махрам-апа двигались цепочкой по дворику, положив друг другу руки на плечи, топали и кричали страшными голосами. Ими руководила Зулехха, бойкая работница с хлопкоочистительного завода. Она не верила ни в бога, ни в черта, но была невероятно любопытна, не пропускала свадеб, похорон, шаманских «лечений», всюду совала свой нос и все знала. По просьбе Гульнур-апа она с готовностью возглавила эти «семинарские» занятия.

Я присел в сторонке, любясь этим «эстрадным номером», и записывал движения. Когда репетиция закончилась и запыхавшиеся, охрипшие женщины схватились за чайник, я расхвалил их, отметив особенно изящные па Гульнур-апа и пообещав ей богатое будущее в качестве «королевы джахра».

Но на этом не завершилось наше знакомство с Гюлли-бии и со всем, что с ней связано: судьбе угодно было еще раз столкнуться меня с этой таинственной святой.

С тех пор прошло немало лет. Недавно, после некоторого перерыва, я снова побывал в Хорезме. Изменились не только цели наших изысканий и состав отряда, иным стал и Хорезм. Необычное началось уже в пути, когда наша машина совершала традиционный рейс по левому берегу Амударьи от района Ходжейли на юго-восток оазиса. На севере его вместо унылых солончаков — карты хлопковых полей и повсюду, справа и слева, новые арыки. Ташауз, центр Северного Туркменистана, показался совершенно незнакомым городом. На следующем участке пути селение Амбар-Монак, всегда привычно белевшее слева от дороги, исчезло за полосой древесных насаждений, как скрылась и расположенная рядом с ним средневековая крепость Вайенган-кала. Столь памятное мне своими любопытными сооружениями кладбище, где в столетних деревьях основали свою резиденцию галки всего северного Хорезма, те-

перь почему-то оказалось слева от дороги. А потом дорога вообще пошла местами, которых я за долгие годы знакомства с Хорезмом никогда не видел.

Наконец я сообразил, почему все переместилось. Там, где мы когда-то петляли по равнине, ныряли по ухабам, окутанные теплой дорожной пылью, теперь из-под наших колес уносило вдаль прямое как стрела асфальтированное шоссе, спрямившее дорогу и спутавшее все мои ориентиры.

В Ургенче меня сразу поразил новый широкий мост через канал Шават, чем-то напоминавший московские мосты; старый, деревянный теперь оказался где-то на задворках. Вообще, должен признаться, на просторах улиц нового района города с бульварами, многоэтажными домами, с мелькающими автобусами я почувствовал некую робость. Здесь должны были к нам присоединиться двое сотрудников. Целый день, ожидая их, мы кружили около гостиницы, знакомой до последнего окошка, во дворе которой мы столько раз разбивали бивак около машины, когда не было мест; а в это время товарищи ждали нас в новой четырехэтажной гостинице, о существовании которой мы и не подозревали.

Путь от Ургенча до Ханки, всего восемнадцать километров, пролегал тоже по новым местам.

Но больше всего меня поразили Ханки. Мне давно стал привычным маленький пыльный кишлак, главную улицу которого, обсаженную старыми деревьями, можно было одолеть несколькими десятками шагов. Теперь она стала далеко не главной. А главная — это бывшая дорога, ведущая к вокзалу, на которой когда-то мне с гордостью показывали третий новый дом. Сейчас это полностью застроенная и озелененная улица. Площадка перед новым зданием райкома забита «Волгами» и «Москвичами»: на совещание съехались работники колхозов. Все было ново: и строгие светлые здания, и аккуратные посадки деревьев, и эти блестящие автомашины, и мягкие шляпы прохожих. Ново и непривычно.

«Открытия» следовали одно за другим. На бывшем пустыре выросло трехэтажное здание универмага — стекло и железобетон. Новый бульвар. Стадион в Ханки! В Ханки, где недавно спорт был представлен десятком мальчишек, гонявших мяч за базаром!

Но самое главное — кишлак разросся во все стороны. Казалось, в нем кипят какие-то вулканические силы и, как лаву, выбрасывают вдоль дорог, сходящихся к нему, вереницы новеньких домов, аккуратных, под шифером, с кирпичными воротами и палисадниками.

И только когда я увидел в центре (теперь уже бывшем центре) знакомый киоск с газировкой под столь же знакомым полувывсохшим деревом, я убедился, что нахожусь в Ханки.

Обосновались мы тогда в колхозе в нескольких километрах от Ханки. Я ходил по колхозу, и меня неотступно преследовала мысль, что когда-то я здесь был. Но вспомнить, когда и по какому поводу, я не мог. Уж очень все кругом было ново, и оно заслоняло всякие воспоминания.

Сельский пейзаж Хорезмского оазиса менялся у меня на глазах. Я еще помню традиционный для этих мест тип поселений: среди отдельных и в общем-то небольших участков полей то там, то здесь в купе деревьев возвышались усадьбы-крепости, отдельные хутора, занятые большими, неделинными семьями. Реже такие «крепости» группировались по три-четыре около проселочных дорог.

Но уже в конце 1950-х годов мне показывали в колхозах новые улочки с домами крестьян, переселившихся сюда из хуторов. Дома стали меньше — постоянно шло расщепление больших семей, — но сохраняли традиционную планировку, а во внешнем облике имитировали оформление старых усадеб. Это были первые попытки создания новых форм поселений — больших поселков, которые бурно начали расти в 1960-х годах и продолжают расти сейчас.

И вот я хожу по колхозу и удивляюсь на каждом шагу. Сейчас центральная усадьба переместилась на широкое, магистральное, залитое дневным светом фонарей шоссе Ургенч — Ханки, по которому снуют грузовые и легковые машины, автобусы, мотоциклы.

Параллельно шоссе на целый километр протянулась главная улица поселка с новыми домами; рядом с ними тянется асфальтированный тротуар. Между улицей и шоссе раскинулся административно-культурный центр колхоза. Здания правления, огромной школы, клуба окружены молоденьким парком, в котором бьют фонтаны.

Дома новые, «с иголочки», но сохранили основные черты местной жилой архитектуры и в планировке, и во внешнем облике. Отрадно, что не забыто, а живет и процветает чудесное хорезмское искусство орнаментации стен по сырой глине, а старинные резные двери, настоящие музейные шедевры, бережно перенесены сюда из оставленных домов.

Нас поселили в глубине колхоза в бывшем здании правления, теперь пустующем. Предоставили нам две комнаты, кухню с плитой, газ в баллонах. Так роскошно мы еще не жили во время полевых работ.

Мы начали работу, и сразу стало видно, как изменились сами люди. К нам были все так же внимательны, искренне желали нам помочь. Но на некоторых вопросах, интересующих этнографов, стало труднее концентрировать внимание собеседников. Если бы и в этот полевой сезон нас интересовали верования и обряды, работать по этой теме стало бы значительно сложнее. Сказывалось все растущее равнодушие к этим вопросам.

Изменился весь темп жизни людей, и нам приходилось к нему приспосабливаться. Даже стариков трудно было заставить дома: они все время были в бегах. Раньше с ними можно было часами беседовать, сейчас же они все время куда-то спешили, и их приходилось держать чуть не за полу халата. Один торопился в сельсовет, другого ждали его сверстники в общественном саду, третий шел куда-то с внуком-школьником, четвертый спешил в магазин.

На этот раз я не собираюсь рассказывать ни о нашем быте, ни о наших изысканиях — они в тот полевой сезон вышли за рамки традиционной тематики, которой посвящены эти записки. Поведаю лишь об одном эпизоде нашего пребывания в колхозе, так как он является связующим звеном между сегодняшним днем Хорезма, принесшим мне столько нового и необычного, и довольно уже отдаленным прошлым; он завершает мое знакомство с «цветочной госпожой».

Как-то уже под конец пребывания в колхозе две мои сотрудницы вернулись к вечеру на нашу базу и привели с собой местного парнишку на вид лет четырнадцати-пятнадцати. Этот любознательный школьник увидел их где-то беседующими со стариками, прислушался, уловил в чем дело и предложил познакомиться со своим собственным дедом, который, по его словам, может рассказать много интересного. Парень, одетый в модный черный костюм с искрящимся галстуком, который он все время поправлял, был очень серьезен.

Идти было недалеко. С улицы мы свернули в переулок, заросший деревьями так, что домов не было видно. В темноте что-то белело. Я посмотрел через дувал и сразу понял, когда и при каких обстоятельствах побывал раньше в этих местах.

Ошибиться было невозможно. Даже в самом смутном сне я узнал бы очертания этого здания. Мазар Гюлли-бии. Когда-то белоснежный, купол теперь выглядел уныло. Его, наверное, уже давно не штукатурили и не белили; по всему куполу расплзлись трещины, как когда-то морщины по лицу старой Айши. Он как будто еще больше врос в землю, приплюснув саму усыпальницу.

Мы вошли в полутемную комнату маленького дома. В лицо хозяина, полуслеплого старика, не надо было и вглядываться: я сразу узнал его. Это был сын старой Айши. Я хорошо знал, что и сейчас от него ничего не добьюсь: более плохого собеседника я не встречал.

Он вяло и невразумительно рассказывал что-то давным-давно мне известное, я рассеянно слушал и вспоминал. Старая Айша, ее предприимчивые невестки, превратившие старуху в предмет бойкой коммерции, «невинные девы», управлявшие мазаром. Где они все? Я очень осторожно расспрашивал. Айша умерла, когда ей было сто двенадцать лет. «Девы» разъехались кто куда. Только что вошла в комнату одна из младших невесток, вернувшаяся с колхозной фермы. Как видно, включиться в общественное хозяйство по нашим временам выгоднее, нежели принимать лепешки у паломниц. Бывают ли люди у мазара? Бывают, но редко, главным образом приезжие. А то месяцами никого нет, разве забредут древние старухи.

Итак, и без того смутный образ «цветочной госпожи» утратил и свою практическую реальность. Иначе и не могло быть. Все кругом менялось, кипело, сносило остатки средневековья.

В темноте возвращались домой. Наш модный гид провожал нас. По дороге разговорились.

— Как идет ученье?

— Хорошо.

— Спорт любишь?

— Играю в футбол.

— А кем хочешь быть после окончания школы?

— Летчиком, — твердо ответил он.

И мгновенно, как бы высветило лучом прожектора, всплыло в моей памяти: ребенок на коленях старой Айши в торговле тянет ручонки в небо, туда, где с ревом проносится самолет. Каких только совпадений не бывает в жизни!



В 1950-х годах мне часто приходилось бывать в Куны-Ургенче, районном центре Северного Туркменистана. Здесь на городище средневековой столицы Хорезма находилась база комплексной экспедиции и формировались ее отряды, в том числе и наш — этнографический.

Куны-Ургенч в те годы был небольшим поселком, пыльным и малолюдным; его благоустройство, строительство в нем новых зданий начались позднее. В нем не было ничего заслуживающего особого внимания. По существу он был довольно скучным дополнением к величественному городищу Гурганджа с его могучими валами стен, с прекрасными памятниками зодчества первой половины II тысячелетия нашей эры, группирующимися у северной окраины поселка. Здесь возносятся в небо стройные пилястры мавзолея Тюрабек-ханым, одиноко стоит сорокаметровый минарет с покосившейся вершиной, давит землю громадная гробница Текеша, а у рва городища примостился легкий, изящный мазар Фахреддина Рази.

Поселок был еще так мал, что на его трех-четыре улочках, сходящихся к некоему подобию площади, ежедневно можно было видеть одни и те же лица, да еще по нескольку раз в день. Только в базарные дни, когда в Куны-Ургенч съезжались жители окрестных кишлаков, он оживал.

Я любил бродить по Куны-Ургенчу, несмотря на пыль, бестолковую застройку поселка и мизерные расстояния. Несколько приукрашивал его арык с крутыми берегами, поросшими старыми деревьями. В их тени всегда можно было спрятаться от солнца. Вероятно, потому, что поселок этот был местом отдыха после бесконечных разъездов по Хорезмскому оазису, он казался мне уютным и приветливым.

И вот однажды в безлюдный полдень на одной из улиц, ведущих к мавзолею Наджмеддина Кубра, я встретил человека, на которого нельзя было не обратить внимание. Раньше я его никогда не видел. Очень высокого роста, упитанный, еще совсем не старый мужчина с черной бородой вяло шагал прямо

по проезжей части улицы, взметая клубы пыли. За ним, высунив языки, плелись три тощие собаки.

Наметанный глаз этнографа сразу уловил некоторые особенности его внешнего вида: голова незнакомца была повязана синей чалмой, которую в этих местах не носят; в одной руке была длинная палка — настоящий посох, в котором он при его возрасте и здоровье явно не нуждался; в другой руке он нес на ремешке сосуд, выделанный из тыквы, — каду. Эти атрибуты были мне знакомы. Я не сомневался, что мимо меня прошел дервиш.

Тот, кто проявлял какой-либо интерес к истории мусульманского Востока, несомненно, знает, кто такие дервиши. В научной литературе, в описаниях путешественников, в исторических романах вы непременно встретите образ дервиша, фанатичного представителя суфизма — мистического течения в исламе. Понятие «экзотика Востока» неразрывно связано с этой нищенствующей братией, с ее оригинальной одеждой и атрибутами, с экстатическими радениями, в просторечии именуемыми пляской дервишей. От всего этого веет глубоким средневековым, чем-то древним, почти сказочным, в воображении всплывают отдельные эпизоды «Тысячи и одной ночи» или походов Ходжи Насреддина.

Для человека, который только в наши дни познакомился со Средней Азией в расцвете хозяйственной, общественной и культурной жизни ее республик, который не знает ее предсторию, дервишизм действительно нечто совершенно нереальное. Даже для меня, связанного со Средней Азией несколько десятков лет, куны-ургенчская встреча оказалась полной неожиданностью. Можно было считать, что дервишизм как религиозное явление давно ушел в область преданий. Потребовалось компетентное мнение знакомых куны-ургенчских стариков, подтвердивших, что я не ошибся. Встретившийся мне человек действительно дервиш, последний из куны-ургенчской группы нищенствующих аскетов, которая обитала в особом помещении — каляндархоне — около мазара Наджмеддина Кубра.

Я, конечно, разыскал эту каляндархону, небольшое глинобитное строение среди развалин брошенных домов на окраине поселка. Целое полчище собак разных возрастов и мастей встретило меня лаем у дверей, но на дверях висел замок. Я ушел, сожалея, что знакомство с последним дервишем Куны-Ургенча не состоялось. Больше я его не встречал. Было досадно, что я упустил, теперь уже в последний раз, возможность установить непосредственный контакт с дервишами. А такие возможности были и раньше.

Впервые я увидел дервишей в 1929 году в Бухаре и Самарканде. Всего за девять лет до этого рухнул феодализм двух среднеазиатских ханств, был свергнут и бежал эмир Бухары Алим-хан. На аукционе, происходившем под одним из куполов бухарского крытого базара, еще распродавались золотошвейные халаты, ковры и кисейные чалмы из дворцовых хранилищ «наместника бога на земле». Еще узнавали на улицах проходившую под паранджой одну из жен бухарского эмира, из числа тех второстепенных «жемчужин гарема», которых эмир, рассортировав перед своим бегством, так и не успел вывезти из столицы. Бухара во многом еще жила событиями недавнего прошлого.

Тогда, преимущественно на базарах, дервишей часто можно было видеть и группами, и в одиночку. Своим внешним видом они резко выделялись в толпе. Прежде всего бросались в глаза их головные уборы — кулох — остроконечные вышитые колпаки из шерстяной материи; такие головные уборы, кроме дервишей, никто не носил. Необычны были и вышитые халаты, также шерстяные, иногда с короткими, по локоть, рукавами, и широкие шерстяные пояса, на которых укреплялись очень крупные четырехугольные камни или куски стекла, именовавшиеся санги каноат, то есть «камни нетребовательности». Поражали окружающих и прочие их атрибуты: причудливых очертаний посохи с кольцами и цепочками, издававшими звон при ходьбе; всевозможные амулеты (например, большие океанские раковины) и особенно черные сосуды для сбора подаяния — кашкюль. Эти сосуды были выделаны из скорлупы кокосового ореха, висели на цепочке, перекинутой через плечо. Сосуды из тыквы — каду — и переметные сумы дополняли набор предметов, необходимых дервишам. Уже в те годы не каждый дервиш обладал полным комплектом специфической одежды и орденских атрибутов. Кулохом — знаком принадлежности к братству — дервиши особенно дорожили.

Интересно было наблюдать, как дервиши группой вторгались на базар. Люди замолкали и уступали им дорогу; внешне отрешенные от всего окружающего, дервиши шли, нестройно распевая мистические стихи и выкрикивая имена божьи. Однако они зорко все примечали по сторонам, угадывая своим профессиональным чутьем, где можно рассчитывать на существенные пожертвования.

Они никогда не просили — это было запрещено уставом их ордена. Но им всегда давали. Хлеб складывался в переметные сумы, деньги — в кашкюль, жидкая пища сливалась в тыквенные сосуды.

В чем же секрет активного воздействия дервишей на умы и чувства людей? Конечно, как «божьи люди», живущие подаянием, они вызывали жалость и сочувствие. Но не это было главным. Странными одеяниями, причудливыми предметами и всем своим поведением они прежде всего внушали чувство боязни и почтения. Дервиши хорошо знали это и умело пользовались производимым ими эффектом. Они держали себя на породе вызывающе, были наглы в своем презрении к толпе, гордились положением избранных и отнюдь не чувствовали себя униженными и оскорбленными, как рядовые нищие.

Популярность дервишей достигалась не только их внешностью и поведением. В отличие от официальных богослужений, проводившихся на арабском языке, чуждом широким массам населения, мистические стихи, читавшиеся и распевавшиеся дервишами на родном языке — узбекском или таджикском, были понятны людям.

Арсенал средств воздействия на окружающих у дервишей был весьма разнообразен. Если одни из них подавляли грубой силой, вызывая чувство страха, то другие действовали более тонко. И пожалуй, ярче, чем бухарские дервиши, бряцающие своими посохами и ревущие песнопения, в памяти запечатлелся другой дервиш, которого мне часто приходилось видеть в Самарканде.

Он сидел совершенно неподвижно на вымощенной булыжником площади Регистан. Кругом возвышались порталы медресе Тиля-кори, Шир-дор и Улуг-бек. Сидел дервиш на земле, на небольшой козлиной шкуре, в хорошо известной на Востоке позе покорности — согнув колени, на пятках, склонив корпус, опустив голову и положив руки на колени. Рядом стоял тыквенный сосуд и лежал посох.

Я жил тогда в одной из келий медресе Шир-дор. Когда бы я ни пересекал площадь Регистан — ранним ли утром, когда на вершинах минаретов в первых лучах солнца изразцы переливаются всеми цветами радуги, а внизу еще царит тень; в раскаленный душный полдень; в сумерки, когда площадь темна и пустынна и только стрижи с криками носятся над ней, я всегда видел маленькую, тщедушную фигурку дервиша с низко опущенной головой в большом остроконечном колпаке.

Он ни на что не обращал внимания; я не видел, чтобы он ел или говорил с людьми. Неподвижность его потрясала: он терял объемность, казался вырезанным из картона плоским силуэтом, прикрепленным к камням площади. Крохотный среди громадных порталов зданий, он был неотъемлемой деталью этого средневекового ансамбля. Исчезал он только по ночам.

Самаркандский дервиш, вероятно, сохранил традиции той школы раннего мистицизма, которая до крайности развила принцип отказа от жизненных благ и общения с людьми; погруженный в себя, он невольно вызывал сравнения с индийскими аскетами.

Пожалуй, именно сейчас уместно вкратце сказать, что из себя представляет суфизм в целом и каково соотношение его с тем течением в мистицизме, которое именуется дервишизмом. История суфизма сложна и в значительной степени еще неясна. Не касаясь всех деталей теории его происхождения и развития и не углубляясь в философское его содержание, ограничимся лишь сутью вопроса.

Суфизм возник как одно из течений в исламе в IX веке нашей эры. Сущность учения суфиев сводится к тому, что божественная субстанция пронизывает весь окружающий человека мир и он может путем самоусовершенствования, проходя определенные стадии приближения к божеству, в конечном итоге познать божество и слиться с ним. В этом процессе разум не играет никакой роли, во всем господствует чувство и вызываемый им экстаз как средство такого слияния.

В целом суфизм крайне реакционен. Приоритет чувства над разумом вел к мракобесию, лишая человека его ценнейших качеств; догмат отказа от проявлений собственной воли превращал последователя этого течения в слепое, безгласное орудие в руках руководителей ордена, общины.

Но нельзя не отметить некоторые исторически прогрессивные стороны суфизма. В известной степени он противостоял гнетущему влиянию мусульманской схоластики и представлял, если так можно выразиться, легальные возможности для протеста против официального богословия, протеста, в некоторых случаях достигавшего степени вольнодумия. Суфийские образы и иносказания служили формой, в которой могла жить и развиваться прекрасная поэзия Востока.

На протяжении ряда столетий в суфизме появилось множество течений и школ. Одни из них рано отмерли, другие застыли в своих архаических формах, третьи, преобразовавшись, просуществовали до наших дней. Так возникли дервишские аскетические ордена, специфической особенностью которых был отказ от мирских благ, занятие нищенством. Как и многие другие, дервишские ордена постепенно обрели в организационном отношении полную самостоятельность, подчинялись своим руководителям и лишь идеологически связывали себя со знаменитыми шейхами, основоположниками ранних суфийских школ.

В Средней Азии к началу текущего столетия суфизм дошел в двух вариантах: в виде множества разобщенных суфийских коллективов, руководимых духовными наставниками — ишанами, и в виде более замкнутых и малочисленных орденов нищенствующих дервишей — каландаров.

Ишаны и их последователи — мюриды не порывали с обычными занятиями, со своими семьями, с общественной жизнью города или кишлака. Крупные ишанские династии были обладателями земель и поместий. Что касается дервишей, то они не имели семей, жили в особых общежитиях и кормились подающими окружающими.

Следует оговориться, что термин «дервиш» весьма условный. Еще в XV—XVI веках дервишами именовались вообще суфии, последователи основателей мистицизма (например, знаменитого Ходжа Ахрара, вдохновителя религиозной реакции в государстве тимуридов), и лишь позднее этот термин стал обозначать преимущественно членов нищенствующих орденов мистиков.

Итак, среднеазиатский дервишизм — явление, характерное для средневековья и волей судеб дожившее до наших дней, — отмирал буквально у нас на глазах, унося с собой множество невыясненных вопросов.

Встреча в середине 1950-х годов с куня-ургенчским дервишем вызвала у меня профессиональный интерес к этому религиозному течению. Правда, основной источник получения сведений — личное наблюдение, — к сожалению, отпал. Уже невозможно увидеть их эффектных шествий по улицам города или кишлака, нельзя, затаившись где-нибудь, наблюдать их радения или, проникнув вечером в их общежитие, подсмотреть их не в ролях, рассчитанных на посторонний взор, а в повседневном быту, когда, вернувшись после целого дня хождений по улицам, скинув свои колпаки и амуницию, они сидят, растирая натруженные ноги, и в ожидании чая переговариваются оспитыми голосами.

Но если личные наблюдения отпали, то другой, не менее надежный источник получения сведений пока существует. Я имею в виду народную память, особенно память лиц старшего поколения, современников интересующих нас явлений. И вот я сам уподобился дервишу, странствуя по Хорезмскому оазису и собирая по крупицам в свой «кашкюль» то, чем одарила меня щедрая память моих собеседников. Я говорю «по крупицам», так как круг лиц, в той или иной степени соприкасавшихся в прошлом с дервишами, был уж слишком ограничен. Но тем не менее из этих разрозненных данных поне-

много складывалось довольно полное представление о хорезмских дервишах — правда, несколько одностороннее, так как догматическая сторона их учения была недоступна нашим рассказчикам. Что касается структуры дервишских братств, их внутреннего быта, дервишских традиций, то сведения о них значительно пополнились весьма характерными и подчас неожиданными сведениями.

Самое ценное я узнал от трех стариков; с двумя я познакомился случайно, третьего знал много лет. В городе Хиве я по совету друзей отыскал в переплетении узких улиц маленький дворик, в центре которого возвышалась великолепная резная колонна, поддерживавшая навес. Здесь, на айване, мы провели несколько вечеров в беседах о прошлом. Хозяин, уже давно ушедший на пенсию учитель, принадлежал к старой хивинской интеллигенции, близкой некогда мусульманским кругам. Он знал здесь всех, и все его знали. То, что он мне рассказывал, отличалось большой точностью, и за достоверность его рассказа можно было ручаться.

Полной ему противоположностью был второй мой собеседник, с которым я случайно познакомился в одном маленьком кишлаке около Шавата. Старик этот — неумный бродяга, который с молодых лет метался из города в город, из кишлака в кишлак в поисках чего-то ему самому неясного и лишь под старость осел в глуши около каких-то дальних родственников. Он много знал любопытного о жизни дервишей. Удалось записать даже некоторые стихотворные тексты, излюбленные дервишами: старик хранил их в памяти с тех лет, когда, кочуя по Хорезму, подолгу останавливался в общежитиях аскетов.

Но конечно же, со всеми наиболее сложными вопросами я обращался к третьему собеседнику — старому мулле из кишлака Ханки, с которым мы уже познакомили читателя в одном из предыдущих рассказов.

Судя по всем свидетельствам, дервишизм в Хорезме мало чем отличался от аналогичного явления в других местах Средней Азии: те же догматические принципы, тот же ритуал, тот же образ жизни. Но были и некоторые особенности.

Так, хорезмские каландары соблюдали «громкий» зикр. Зикры — это периодически проводимые радения (напоминающие радения сектантов в православии — хлыстов и скопцов), во время которых дервиши, приходя в экстаз, стремились отрешиться от всего окружающего и в этом состоянии якобы приближались к божеству.

Зикры — характерная особенность всех мистиков Востока: и дервишей, и последователей ишанских общин. Но если в боль-

шинстве мест Средней Азии преобладал «тихий» зикр, при котором мистик находится в состоянии полной прострации, хорезмские дервиши и ишаны применяли «громкий» зикр: участники радений сопровождали призывы к богу целой серией телодвижений, коллективных и индивидуальных. Так, положив друг другу руки на плечи, они становились в круг и передвигались все вместе, резко сгибая каждую ногу в колене и сильно ударя ступней по земле; кружились поодиночке и даже катались по земле; в центре обычно сидел хафиз — певец; все это сопровождалось выкриками имен божьих: «Хак! Ху!» и др.

Хорезмские дервиши называли себя приверженцами школы бухарского мистика шейха Бехауддина Накшбанди (XIV век новой эры), но признание это, видимо, явление позднее, так как накшбандийцам был присущ «тихий» зикр, без каких-либо плясок. Слава Бехауддина Накшбанди заставила померкнуть воспоминания о местном основателе ордена Наджмеддине Кубра, жившем в Ургенче и погибшем при взятии этого города полчищами Чингис-хана.

К началу нашего столетия дервиши жили небольшими группами по всей территории Хорезма. В каждом городе и крупном поселке имелись их общежития — каландархоны. Количество дервишей в такой низовой ячейке варьировало, однако в рассказах о них неизменно упоминалось число семь. Это не случайно. Число это сакральное, священное; оно известно в погребальном ритуале, в системе оберегов, в почитании святых. Это же число мы встречаем в иерархии чилтанов — сорока скрытых святых, представления о которых широко бытуют в мусульманском мире и, несомненно, связаны с дервишизмом.

Во главе каждой группы дервишей стоял атабай, представитель среднего звена в иерархии каландаров. Он назначался пиром, осуществлявшим верховную и единоличную власть над всеми дервишами этого края. Власть пира, по имеющимся данным, была совершенно автономна; никаких организационных связей хорезмских дервишей с их коллегами в Бухаре, Самарканде, Фергане мы не обнаружили.

Атабай, утвержденный в этой «должности» особым документом — иршадом, обязан был прежде всего следить за соблюдением в группе дисциплины — той доведенной до изуверства особой дисциплины, которая лишала человека полной индивидуальности. Атабай учил каландаров орденским правилам поведения, готовил новичков, вступающих в братство, и повседневно распределял обязанности, районы сбора пожертвований; ему поступало все собранное за день, он распоряжался питанием братии.

В начале нашего столетия суфийское учение в целом, и в частности его дервишский вариант, находилось уже в стадии деградации. Смысл этого учения рядовыми каляндарами воспринимался с трудом, в ритуале господствовал ряд штампов. Состав дервишских общин изменился. Процент людей, ставших каляндарами по убеждению, был крайне ничтожен. В общины шли бродяги, тунеядцы. Помимо «штатных» каляндаров к дервишским группам примыкало множество профессиональных нищих, юродивых, калек и наркоманов. Вся эта орава ютилась в каляндархонах, выполняющая кое-какую работу по дому, а также, разбившись по группам, сопровождала каляндаров, придавая их шествиям по городу необыкновенный колорит.

Хотя дервишизм переживал период упадка, многие древние традиции продолжали сохраняться. По-прежнему в общины принимались лишь те, кто отказался от семьи, от более или менее обеспеченного положения, от мирских забот и увлечений.

Неизменной оставалась торжественная клятва вступающего в орден о соблюдении всех его правил, а также испытание новичка в течение определенного срока. Такое испытание отнюдь не было пустой формальностью. Во время испытания новичка изолировали от людей в особом помещении — тесном, сыром, без света. Иногда его выводили, чтобы выполнить какую-нибудь грязную тяжелую работу, но в основном он сидел в темноте, часто голодный: голодовка тоже входила в систему испытания.

Еще более суровым был процесс посвящения, когда кто-нибудь из дервишей, завоевавших достаточный авторитет, претендовал на звание и должность атабая. Выдержав испытание, он получал документ на право самому возглавлять дервишскую группу.

Каляндархона — общежитие дервишей — по своему внешнему виду немногим отличалась от обычного одно- или двухкамерного глинобитного дома. Размеры каляндархоны зависели от щедрости того лица, обычно местного богача, которое либо по обету, либо просто в качестве богоугодного дела сооружало такое пристанище для «божьих» людей. Каждая каляндархона была одновременно своеобразным мужским клубом, куда по вечерам сходились «отцы» города потолковать о делах, а главным образом развлечься: послушать певцов-хафизов, музыкантов, закусить и одурманить себя наркотиками.

О наркотиках следует сказать особо. В прошлом они были довольно широко распространены в Хорезме, однако в массе своей население неодобрительно смотрело на наркоманов. Что

касается официальной религии — ислама, то он резко порицал употребление наркотиков, считая это греховным делом.

Но хорезмских дервишей трудно было себе представить без употребления наркотиков, причем оно носило у них не индивидуальный характер, а превращалось в коллективное действие, в полном смысле слова в ритуал, сходный с ритуалом распития вина, кумыса, бузы в пережиточных мужских объединениях у народов Средней Азии¹. Для дервишей употребление гашиша и опия служило средством приведения себя в экстаз, столь характерный для этого мистического течения в исламе, и, видимо, имело очень древние корни: еще у Геродота имеется свидетельство об искусственных способах возбуждения экстаза у древних племен Средней Азии; он пишет о жителях острова на Араксе (имеется в виду Амударья), которые возбуждают себя запахом горящих плодов и «наконец пускаются в пляску и начинают петь»².

Кстати, самые подробные сведения о дервишах я получил от человека по кличке Банги (то есть наркоман), сейчас уже весьма почтенных лет, который на почве своего пристрастия к наркотикам в свое время сблизился с дервишами, постоянно посещал каляндархоны, откуда и знает быт нищенствующих мистиков. Он рассказал о повседневной, будничной жизни дервишей.

Утро в каляндархоне начиналось поздно. Заспанные дервиши поднимались с единственной мыслью: что бы поесть? Здесь следует сказать об одном весьма странном правиле, предусмотренном уставом ордена: каляндарам категорически запрещалось оставлять что-либо из пищевых продуктов на другой день и делать запасы. Все, что было собрано, в тот же вечер поглощалось братией, и за этим строго следил атабай.

Не удивительно, что, встав после сна, аскеты чувствовали себя довольно тоскливо: предстояло на пустой желудок бродить по улицам, купаясь в городской пыли. Они собирались в центре каляндархоны около атабая. Сидя около очага, склонив корпус и глядя куда-то вверх, атабай испускал жалобный вопль.

— Дост! (друг, приятель) — кричал он, обращаясь к богу.

— Дост! — нестройным хором вторили ему дервиши, вызывая всевышнего на разговор.

¹ См. Г. П. Снесарев. Традиция мужских союзов в ее позднейшем варианте у народов Средней Азии. — Сб. «Материалы Хорезмской экспедиции», вып. 7. М., 1963, стр. 186—189.

² См. Геродот. История, т. I. М., 1888, стр. 201—205.

— Вы же знаете,— кричали они ему,— нет у нас детей, нет у нас жен, нет домов! Нет у нас еды и нет у нас банга (наркотика)! Вот, смотрите, встали мы поздно, и мы голодны. Вы же знаете это!

Вопли каляндаров разносились по всему городскому кварталу, как плач по умершему, и люди из соседних домов спешили принести поесть «божьим» людям.

Весьма панибратское отношение к богу — характерная черта ордена каляндаров. Только в их среде с богом говорили как бы на равных правах, не просили, а ставили свои требования. Интересно, что те хорезмские святые, которые в мифах и легендах выступают в образе дервишей и близких к ним экзальтированных проповедников, осмеливались даже покрикивать на бога. Так, в одной из легенд популярнейший в крае святой Султан Ваис, бездомный фанатик, полуголый и босой, иступленно требовал передать ему — Султан Ваису — души всех грешников на исправление. А другой святой — дервиш Дивана-и-Бурх — в знак протеста против того, что бог создал ад, сорок лет простоял на одной ноге и долго торговался с богом, требуя предоставить ему право уничтожить ад; правда, в конце концов от этой идеи он отказался, после того как грешники его самого пбили камнями.

После утренней еды, принесенной жителями соседних домов, дервиши начинали готовиться к выходу на сборы подаяния. И тут многие наши рассказчики обращали внимание еще на одно странное обстоятельство, связанное с ритуалом каляндаров.

Перед уходом каждый из них совершал поклонение очагу каляндархоны: он прикасался к очагу рукой или обеими руками, после чего проводил ими по лицу, глазам, шепча молитвы.

Очаг в каляндархоне по форме не отличался от очагов обыкновенного жилого дома. Но размеры его были необычны: это огромное круглое сооружение занимало весь центр помещения. В очаге постоянно, и днем и ночью, поыхало пламя — горело толстое бревно, просунутое одним концом в топку. Во время отсутствия каляндаров за огнем наблюдал кто-либо из юродивых или калек.

Грандиозный очаг каляндаров назывался очагом чильтанов. Это еще раз доказывает связь, существующую между дервишизмом и представлением о сорока скрытых святых, о котором мы упоминали. В Куня-Ургенче сохранилось поверье, что раз в году глухой ночью тайно от людей в каляндархоне собираются чильтаны и обсуждают, что происходит на нашей планете.

Но продолжим рассказ и проводим дервишей, собравшихся на сборы подаяния. Гурьбой они выходили из своего общежития и, тихонько переругиваясь, медленно шли по маршрутам, заранее заданным им атабаем. За ними, потрясая лохмотьями, бежали юродивые, ковыляли калеки. Сам атабай обычно оставался дома или шел к кому-нибудь в гости.

Дервиши обходили дома. Заслышав знакомый жалобный речитатив, хозяева выносили еду и деньги. Особенно любили каляндары базарные дни, когда из кишлаков съезжались простодушные крестьяне и можно было рассчитывать на богатую пожизну. В эти дни на базар и примыкавшие к нему улицы выходила большая группа дервишей во главе с атабаем. По обычаю, первой наполнялась переметная сума атабая; когда она становилась тяжелой, ее нес кто-нибудь из рядовых дервишей. Все собранное за день шло в общий котел и вечером съедалось. На деньги покупали продукты — рис, мясо, масло. Любопытно, что только чай находился в личной собственности. Каждый каляндар имел свой чайник. Этими чайниками был уставлен очаг, и из-за них «божьи» люди постоянно грызлись между собой.

Иногда бородатые обитатели каляндархоны начинали глухо роптать, хотя до открытого бунта дело не доходило: срабатывал древний принцип безусловной покорности руководителю. Роптали в тех случаях, когда атабай настолько забывался, что захватывал себе львиную долю собранного и делал личные запасы, а у аскетов подводило животно. Если какими-то тайными путями глава ордена — пир — узнавал о злоупотреблениях, он мог даже разжаловать атабая в рядовые каляндары или перевести его в другое место.

Из бесед с людьми, знавшими быт каляндаров, выяснилось, что они не только занимались сбором подаяния, хотя именно это было их основным средством существования. Иногда «божьи» люди приглашались богачами присутствовать при таких семейных событиях, как похороны. Так, два-три дервиша обычно сопровождали гроб на похоронах состоятельного хивинца, каляндары же выполняли роль профессиональных плакальчиков по умершим.

Они довольно успешно конкурировали с муллами, табибами и шаманами, занимаясь религиозным «лечением» больных и распространяя амулеты — обереги от злых духов; нередко они гадали желающим.

В этой связи вспоминается один эпизод из прошлого. Было это в начале 1930-х годов в Самарканде. Я увидел каляндара в толпе на улице, в настоящем дервишском колпаке и с посо-

хом. Посох, узловатый, отшлифованный, с металлическими кольцами, бряцавшими на ходу, был особенно эффектен. Я пригласил каляндара во двор музея, где работал, соблазнив его чаем, и долго пытался что-нибудь от него узнать. Я был молод и наивен, и мне казалось, что я сразу познаю все премудрости дервишского учения. Но аскет оказался непроницаемым. Этот веселый старик с ясными, по-детски наивными глазами много говорил, но только не о том, о чем хотелось бы мне. Он с удовольствием расположился на циновке, один за другим опоражнивая чайники чая. Говорил он, конечно, о плохих заработках и дороговизне на базаре; дальше этого наше собеседование не продвинулось. В заключение он, желая, видимо, ответить любезностью на любезность, достал нитку и, что-то шепча, стал завязывать на ней узелки. Потом, подсчитав их, он утешил меня, сказав, что я проживу до девяноста восьми лет. Так я ничего и не добился.

Вспомнилась и другая встреча в те же годы, но уже в Хиве, куда я выезжал с экспедицией. Вдвоем с фотографом жарким июньским днем мы бродили по центральной части города. Стояла та азиатская сухая жара, когда дышать, казалось, уже нечем. Голубой минарет Мадамин-хана, мавзолей Палван-ата, порталы медресе в раскаленном мареве блекли, теряли четкость контуров и сочность красок. Улочки были пусты; изредка какая-нибудь старуха, вся в белом, медленно проползала по теневой стороне, отдыхая на каждом углу.

Зайдя в одно из маленьких медресе, мы обнаружили, что не одни спасаемся здесь от солнца. В затемненном углу двора прямо на каменных плитах расположилась крайне живописная компания дервишей. Они отдыхали, скинув колпаки, отбросив посохи и развалившись в разных позах. Мы остались в тени ворот. Аскеты лениво поглядывали на нас, переговаривались и похачивали.

Когда дервиши стали собираться в путь и надевать свою амуницию, я увидел нечто никогда ранее не виданное среди дервишских предметов. У троих дервишей оказались брошенными на плечи великолепные тигровые шкуры. Хвосты спускались почти до самой земли. Но все же это были тигрята, судя по размерам шкур.

Позднее я узнал о ритуальном назначении этих шкур. Оказалось, что тигр в верованиях населения Южного Приаралья, где в амударьинских тугаях этот зверь водился сравнительно еще недавно, играл весьма примечательную роль. Тигр был своего рода магическим стимулятором плодovitости. Его мех, когти, зубы, усы бездетные женщины буквально расхватыва-

ли; через шкуру тигра перешагивали; этим и объясняется наличие тигровых шкур у дервишей — за перешагивание надо было платить.

Мне хотелось как можно яснее представить себе личность главы ордена хорезмских каляндаров — знаменитого пира. Но мои собеседники сами мало о нем знали: уж слишком далеки они были от него. Кое-что все же узнать удалось.

Последнего пира хорезмских дервишей звали Мухаммед Шарифджан, сокращенно на хивинский манер Машарипджан. Правил он дервишами, видимо, долго, так как имя его встречается в связи с событиями, происходившими при хане Мухаммеде Рахиме II (1865—1910). Машарипджан был сыном крупного суфийского ишана, жившего на юге оазиса в городе Хазараспе. Вероятно, поэтому и резиденция каляндарского пира находилась в этом городе. Отсюда пир периодически выезжал к своей пастве. Во время своих турне по оазису он останавливался в каляндархонах либо у кого-либо из власть имущих. Окрестное население являлось к пиру с подарками — зерном, мясом, фруктами, деньгами. К таким наездам пира приурочивались приемы новичков: без санкции пира в братство никого не принимали.

В Хазараспе около пира обосновалось особенно много дервишей. Здесь, по рассказам, было семь каляндархон; основной считалась та, которая была расположена вблизи мазара Шах-бобо, где, по легендам, покоился прах одного из ранних правителей Хорезма.

О личной жизни Машарипджан-пира ничего узнать не удалось. Но по отдельным эпизодам можно понять, что глава дервишей вел далеко не аскетический образ жизни. До сих пор рассказывают, в какие торжества превращались встречи пира, когда он приезжал к своим подданным в Хиву, Ханки, Ургенч и другие города края.

В такие дни каляндархона и прилегающий к ней двор были полны народом. В помещении было дымно и душно. Высокий гость сидел на почетном месте рядом с хакимом, в окружении местных богачей. Каляндары приносили блюда с пловом. Гремела музыка, надрывались певцы-хафизы, танцевали огланы — нарумяненные юноши в женских платьях, с привязанными косами, на ковре кривлялись маскарабозы — скоморохи. И все это заволакивал угар гашиша.

Когда слышишь подобные рассказы, в достоверности которых сомневаться не приходится, невольно возникает вопрос: каким образом эти явления, явно несовместимые с исламом, могли существовать, пускай в особой, но все же в религиозной

среде? Не говорят ли они о глубокой деградации мистического течения в целом?

От такого предположения приходится отказаться. Еще известный востоковед В. В. Бартольд, исследуя вопросы происхождения суфизма, обратил внимание на некоторые места в сочинениях арабских авторов, в которых говорится о весьма вольном поведении в быту представителей некоторых групп ранних суфиев. Он приводит текст обвинения в ереси последователей суфийского шейха Абу-Са'ида Мейхани (X—XI века), который с «минбара читает стихи, а не толкует Коран... Постоянно предъявляет притязания на пышность, устраивает музыкальные сеансы, молодые люди пляшут, едят сладкие блюда... Он называет себя подвижником, но это не образ жизни подвижников»¹.

Сходство с тем, что наблюдалось в быту хорезмских каляндаров, как мы видим, поразительное. Можно думать, здесь сохранились какие-то очень древние традиции.

Подлинное лицо главы ордена каляндаров — пира — тем более неясно, что стараниями его последователей и народной молвой образ этот был окутан всевозможными легендами. В них он рисуется как человек, обладающий сверхъестественными свойствами, провидец будущего и чудотворец.

Об одном эпизоде его чудодейственной практики рассказал мне старый бродяга, о котором я уже говорил. В тот вечер мы что-то очень долго засиделись под чинарой около его дома. Спустились сумерки. В очаге поблескивали последние угольки, чай был допит, лепешки съедены. Разговор шел к концу. Побулькав чилимом, в чашечку которого он предварительно подбросил темную крупинку своего любимого дурмана, старик привычным жестом всех восточных мудрецов погладил свою бороду.

— Машарипджан-пир был большой человек, — сказал он, — вот, послушай, как он чудесным способом изловил Шамми Келя.

Когда туркменский курбаши, вторгшийся в пределы ханства, засел в песках южнее Тахты, Машарипджан-пир явился в Хиву поучать своих дервишей. Пир сидел в каляндархоне и слушал игру знаменитого Курбана. Близкий ко двору хана шейх Назарбай заглянул к дервишам поприветствовать гостя и пожаловался пиру на бесчинства Шамми Келя, с которым никто не мог сладить. Машарипджан-пир слушал злой, нахму-

ренный. Когда шейх уходил, пир велел передать при дворе, что он очень обижен на хана, почему тот до сих пор не прибегнул к его, пира, чудодейственной силе в борьбе против курбаши. На другой день Машарипджан-пир в фаэтоне хана в сопровождении дервишей и музыкантов ехал к месту военных действий. В урочище Дирагли они ночевали в покинутых строениях, оказавшихся складами боеприпасов курбаши. Здесь ужинали, курили банг, музыканты играли. Далее на юг простирались пески, где находились отряды Шамми Келя. Утром пир отправил в ставку курбаши двух конных дервишей. Прибыв на место, они были поражены: не было ни юрт, ни коней, ни войска, а Шамми Кель стоял на бархане один, без свиты, бросив на землю свое оружие и готовый сдаться. Хан принял его, взяв большой выкуп за нанесенный ущерб. Вот какой силой обладал пир!

Рассказ старика убедительно иллюстрирует, как почти в наши дни рождается легенда. Дело в том, что и события, описанные в рассказе, и действующие лица исторически достоверны. Шамми Кель, один из родоплеменных вождей туркмен, действительно совершил зимой 1912—1913 годов набег на ханство и в конце концов явился с повинной к Асфендиархану¹. И лишь с образом пира в рассказ вторгается вымысел, быть превращается в легенду. Хотя и это относительно: история Хивинского ханства пестрит фактами, когда местные ишаны использовались правителями на дипломатическом поприще для улаживания конфликтов с родоплеменными вождями.

После всего, что я услышал о быте дервишей и их пира, естественно, возник вопрос: каким образом официальное духовенство, духовенство мечетей и медресе, делившее с ханами власть в государстве и проявлявшее нетерпимость к любому отклонению от закостенелых норм ислама, могло мириться с дервишами, с их весьма вольным поведением в быту и особым отношением к богу?

Наиболее точного ответа можно было ожидать от представителя официального духовенства. Поэтому я направился в Ханки к нашему старому мулле; воспитанник хивинского медресе еще ханских времен, он мог внести ясность.

На этот раз я нашел муллу на базаре, где он о чем-то ораторствовал около мастерской своего друга кузнеца. Только что он отделался от очередного богослужения в мечети и, как всегда, поэтому был в чудесном настроении.

¹ В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана. Соч., т. II, ч. I. М., стр. 235.

¹ См. «История Туркменской ССР», т. I, кн. 2. Ашхабад, 1957, стр. 347.

Я задал ему свои вопросы. Мулла ни минуты не раздумывал. Конечно же, духовенство крайне отрицательно относилось к дервишам. Оно не считало их настоящими мусульманами хотя бы потому, что они употребляли наркотики. Кроме того, разве можно было считать их мусульманами, если они не совершали ежедневных пятикратных молитв и не соблюдали поста, что являлось бесспорной обязанностью мусульманина.

Это было для меня очередной новостью, хотя я уже привык к неожиданностям, которые таит дервишизм. Но ведь в ханствах Средней Азии несоблюдение молитв и поста приравнивалось к вольнодумию и каралось! Как избегали этого дервиши? У меня даже закралось сомнение, не оговорил ли мулла каляндаров. Однако позднее то же самое я услышал от других лиц.

Надо полагать, что «греховная» жизнь дервишей без молитв и поста, с их панибратским отношением к богу, с наркотиками и развлечениями, с претензией на автономию в организационном отношении — все это было традицией, спокон веков утвердившейся в мусульманском мире.

Кроме того, орден каляндаров представлял собой немалую силу, он был популярен в народе, с ним считались ханы. История Средней Азии знает факты, когда тот или иной правитель отдавал себя под покровительство суфийского подвижника. И духовенству приходилось молчаливо терпеть около себя опасных конкурентов, закрывая глаза на все, что не согласовалось с официальной религией.

Мулла Садулла обратил также мое внимание на одну особенность ритуала дервишей. Оказалось, что каляндары самостоятельно не совершали зикров — радений. Об этом я уже слышал от многих собеседников. Мулла внес в этот вопрос полную ясность. Считалось, что дервиши сами не умели проводить зикры. Для этого необходимо было присутствие ишана. Чаще всего радения совершались в те дни, когда местную группу дервишей посещал пир, который привозил для этой цели какого-нибудь известного ишана. Возглавляли радение и местные ишаны, жившие поблизости и постоянно навещавшие каляндаров.

Что же произошло с дервишской организацией после победы Октябрьской революции в Хорезме?

Известно, что переход власти в руки трудового народа после свержения хана Хивы и последующие реформы резко обнажили расстановку классовых сил в крае. Те, на ком зиждился феодализм Хивы, доживший до XX столетия, открыто вступили в борьбу со всем новым. Басмачество, возглавлявшееся

Джунаид-ханом и окопавшееся в песках Каракумы, нашло активную опору внутри оазиса в лице части ханской администрации, баев и духовенства. Обстановка особенно обострилась в дни контрреволюционного мятежа 1924 года, когда силы внутренней реакции, установив контакт с Джунаидом, двинулись из района Хазараспа и Питняка на столицу республики Хиву. В те дни многие суфийские ишаны, потерявшие после национализации свои земельные угодья, сели на коней, возглавляя басмаческие отряды, и под прикрытием лозунга «защиты ислама» попытались клинками вернуть свои бывшие привилегии.

Именно в этот период Машарипджан, глава дервишей, еще раз дал о себе знать. О последней встрече с ним рассказал мулла Садулла.

Когда один из басмаческих отрядов ворвался в Ханки и устроил резню, жители городка узнали в его предводителе знаменитого главу хорезмских дервишей.

— По приказу Машарипджан-пира все духовенство города было собрано и выстроено на площади, — вспоминал мулла. — Как самый молодой из мулл, я стоял в конце шеренги. Все молча ждали. Заиграл карнай, и окруженный свитой на площадь въехал Машарипджан-пир. На белом коне, весь в белом пир медленно, наклонив голову и искоса поглядывая на нас, дважды проехал вдоль шеренги. Потом остановил коня против наших старших мулл и негромко заговорил; в тишине, царившей на площади, отчетливо было слышно каждое слово. Пир сказал, что призван защищать религию, но что ежели ханкинские муллы сочтут его в чем-то неправым и не дадут ему своего благословения, то все они ослепнут.

По словам муллы Садуллы, сказано это было с каким-то намеком. Смысл его угрозы можно понять двояко. Если он намекал на свои пресловутые способности творить чудеса, то муллы, хорошо знавшие цену всяким «чудесам», могли словам пира не придать никакого значения. Но изувер мог вполне реально выполнить угрозу, применив тот варварский способ расправы с неугодными лицами, который веками использовался при дворе хивинских ханов. И муллы предпочли дать благословение дервишскому вожаку.

Как это ни странно, но именно позднейшие судьбы каляндаров для нас наименее ясны. Можно лишь с уверенностью сказать, что деградация ордена в послереволюционный период шла особенно активно. Замкнутые, оторванные от окружающей действительности и в общем-то немногочисленные дервиш-

ские группы хирели прежде всего потому, что постепенно прекратился приток в них новых членов.

Бухарские, самаркандские и хивинские каландары, которых мне привелось наблюдать в конце 1920-х — начале 1930-х годов, были последними представителями организованного дервишизма. Они еще держались группами, имели руководителей и свои общежития, собирались для совершения зикров. Позднее они предпочли рассредоточиться и перебазироваться в кишлаки. Однако и здесь они не удержались. Деревня перестраивалась, мерилom ценностей был труд, а трудиться дервишам было противопоказано самой сущностью их учения. Содержать же тунеядцев крестьянство, у которого на многое открылись глаза, не собиралось.

Во время одного из последних посещений Хорезма я ненадолго заехал в Хазарасп. Был очень ветреный, мглистый день. Где-то на севере, в Кызылкуме, бушевала сухая буря, отголоски ее доносились и сюда. Песок и пыль, которые двигались по пустыне в сторону культурной зоны, перешагивали через Амударью и оседали на домах, людях, деревьях. Здесь ветер дул уже порывами, он поднимал с дорог пыльные смерчи, и они, покружившись на месте, убегали на хлопковые поля и там рассеивались.

Было скучно и неудобно. Я не узнавал Хазараспа прежних дней, насыщенных солнцем и голубизной неба. Краски поблекли, небо было желтовато-мутным. Четкие контуры древней крепости расплылись. На площади в серой дымке пыли двигались фигуры людей, ревели ишаки. Я обогнул озеро и длинной улицей прошел к мавзолею Шах-бобо. Хотелось еще раз взглянуть на его оригинальный портал.

Только подходя к мавзолею, я вдруг вспомнил, что нахожусь в старой дервишской «столице», что здесь рядом когда-то жила в своих каландархонах нищая братия аскетов и была резиденция главы ордена мятежного Машарипджан-пира.

Во дворе мазара было безлюдно; только знакомый слепой шейх, с головой накрывшись от пыли своим халатом, притулился у подножия портала. Я подсел к нему, но разговора не получилось: шейх был сердит на пыль и ветер. На вопрос о том, где в старые времена находилась каландархона, он неопределенно махнул рукой в сторону кладбища. Выручил внук старика; он вынырнул откуда-то из тучи пыли в щегольски отутюженной школьной форме, огромном картузе и с портфелем под мышкой. Узнав от деда, что мне нужно, он вызвался меня проводить.

Мы прошли кладбищем, петляя между могил; перебрались

через сухой арык и за купой деревьев, над которыми надрывно орал сороки, вошли в некогда жилой квартал, теперь покинутый: люди переселились ближе к шоссе. Тесно стоящие глинобитные дома полуразвалились, рухнувшие стены их завалили узкие улочки. Преодолевая препятствия, мы добрались до старого, полусохшего карагача, одиноко торчащего среди развалин. Парнишка остановился. Это была каландархона, вернее, то, что от нее осталось.

Дерево, очевидно, стояло во дворе. Вся внутренняя часть помещения, довольно обширного, была завалена остатками рухнувших стен. Но в самом его центре, четко выделяясь по окружности, высилась груда размытой дождями, спекшейся глины. Это был очаг, знаменитый чильтан-очаг, предмет непонятного поклонения дервишей, перед которым аскеты некогда шептали свои загадочные молитвы. Теперь он превратился в бесформенную груду глины.

Итак, мое странствие вслед за последним дервишем завершилось. Оно началось далеко на севере, в Куны-Ургенче, пересекло всю территорию бывшего ханства и окончилось здесь, у размытого временем и забытого людьми очага каландаров. Было тихо, только ветер, прорвавшись в развалины, шелестел сухой колючкой.



С очень давних пор среди населения Хорезма живет одна любопытная легенда. Люди рассказывают, что второй мусульманский халиф Омар, сподвижник Мухаммеда, во время своего победоносного похода на восток подчинял своей воле все встречавшиеся на его пути реки, ударяя их своей плетью. Но, якобы подъехав к Амударье, Омар остановился в нерешительности. Свирилая река Джейхун, то есть «кипящая», как называли ее арабы, так грозно ревела, что халиф не осмелился ударить ее плетью, и Амударья так и осталась необузданной и своенравной.

Коварный характер Амударьи в полной мере мне пришлось испытать в те далекие тридцатые годы, когда наш маленький экспедиционный отряд, следовавший из Чарджоу в Хорезм, доверил себя этой величественной и внешне вполне благозвучной реке. В те годы еще не было железной дороги, идущей в южное Приаралье, а первые автомашины сутками пробирались через пески вдоль берега.

Мы плыли вниз по течению, и путь от Чарджоу до Ургенча занял у нас шестеро суток. Транспорт наш был весьма колоритен. Мы обосновались на бывшем пароходе с непонятным названием «Земкараван», абсолютно бездыханном, за старостью лет превращенном в молчаливое вместилище людей, которое тащил на буксире также далеко не юный, но бойкий еще катер «Амударьинец». Оба судна были до отказа набиты пассажирами, особенно «Земкараван», бока которого, казалось, раздувались от обилия людей. Внутри парохода пробиться было невозможно; оттуда неся истошный рев ребятишек. Зацепившись за свои два квадратных метра палубы, наш отряд «утонул» в разноязычной гуще людей, жаждущих добраться до Хорезма.

Транспорт был крайне несовершенен, однако его меньше всего приходилось винить за столь длительное плавание. Здесь свое слово сказала Амударья. Дело в том, что регулярно, каж-

дый вечер мы садились на мель. Как же возникали эти мели? На этот вопрос не могли бы ответить даже опытные водители судов. Старые капитаны, обычно из уральских казаков, давно уже освоивших Амударью, утверждали, что у этой реки нет постоянного фарватера. Там, где сегодня весело шли суда, завтра появлялась новая коса. Разобраться в причудах реки было невозможно.

На мель мы садились или довольно спокойно, или, как это было раза два, с шумом и грохотом, со столкновением двух судов. Один толчок особенно запомнился. Казалось, ничто не предвещало неприятностей. «Амударьинец» мирно пофыркивал, таща нашу колымагу. Жара спадала. На «Амударьинце» капитан грыз огурец, его супруга чистила кастрюлю; бодрствовал один рулевой, дочерна загоревший парень. Когда «Земкараван» сел на мель и суда столкнулись, толчок оказался необычайно чувствительным; я был в полной уверенности, что люди, облепившие суда, посыпались в воду, как зрелые яблоки с дерева. К счастью, этого не произошло.

На мель садились всегда почему-то под вечер. Темнело, а матросы и некоторые пассажиры еще долго бродили по пояс в воде около пароходов, разговаривая о случившемся. Чаше «Амударьинца», более легкого, куда-то сносило течением, и «Земкараван» ночевал в одиночестве. Все затихало. Выплывала луна, и вода начинала поблескивать. Кто-то забрасывал удочки, и нередко в тишине было слышно, как билась о палубу пойманная рыба. Со стороны камышей налетала туча комаров, бороться с которыми было невозможно. Все же мы засыпали.

А утром начиналось азартное состязание с рекой. Откуда-то снизу появлялся «Амударьинец». Вдоль правого берега он пробирался к нам, героически борясь с течением. Его сносило назад, и он снова и снова шел нам на помощь. «Подойдет? Не подойдет?» — гадали земкараванцы. Наконец катерок на последнем дыхании вырывался вперед, делал по воде полукруг и вскоре, гордый и довольный, урчал совсем рядом с нами. Рейс продолжался.

Иногда река проносила нас почти возле самого правого берега, как будто для того, чтобы показать, на что она способна. Здесь в воду стекали «ручьи» кызылкумского песка. Большие участки берега были покрыты трещинами и часто, рухнув в Амударью, взметали в воздух туман лессовой пыли. Правый берег река «съедала» уже в течение многих столетий.

Турткуль, тогда центр Каракалпакии, лежащий на правом берегу Амударьи, был первой нашей остановкой. От пристани до города, старинного Петроалександровска, окруженного кре-

постной стеной, с тенистыми улицами, со зданиями, из которых многие были сооружены еще в прошлом веке, мы добирались довольно долго. Всего через несколько лет после нашего посещения от Турткуля не осталось и следа: река его уничтожила. Новый Турткуль был заново построен дальше от реки.

Со времени нашего путешествия прошло много лет, но первое впечатление от этой неугомонной реки, постоянно вступающей в конфликт с человеком, осталось навсегда. И всегда, когда я подъезжал к ее желтым, быстро несущимся водам, чувство неприязни и недоверия охватывало меня.

Однако во время странствий по Хорезму наступил момент, когда мне пришлось коренным образом пересмотреть свое отношение к Амударье.

Начало было положено незначительным на первый взгляд, но любопытным эпизодом наших этнографических будней. Это случилось, когда оба берега Амударьи в районе Нукуса еще не были связаны понтонным мостом, как сейчас, а действовала обычная паромная переправа. Постоянного места переправа не имела, из-за того что Амударья то наметала косу, то углубляла дно и подмывала берег. Чтобы попасть на переправу, надо было обогнать по возможности большее число машин, следующих к реке, выехать на берег и попытаться определить, где находится переправа. Машина начинала метаться по берегу — километр вверх, километр вниз по течению, пока перед глазами не открывалась огромная очередь всякого рода транспорта: покрытых пылью грузовиков, тракторов, тягачей, гордых легковых красавиц, уборочных машин и, конечно же, безропотных унылых ишаков. Заняв очередь, следовало терпеливо ждать и ругаться с теми водителями, которые старались проскочить вперед, нарушая все правила. Наконец, когда к носу вашей машины подсунут сходни — плоские балки для въезда на паром, надо было затаить дыхание и не отрывать взора от ее колес: осторожно, с непривычным изяществом ваша раздуваемая от экспедиционного имущества машина медленно взбиралась по сходням к борту парома. Наконец, перевалившись на паром, колыхнувшийся от ее тяжести, и сделав последний выдох, она могла успокоиться на четверть часа.

И в тот день все происходило именно так. Из машины, водружившейся на паром, из всех щелей между спальными мешками, койками и въючными ящиками на паром высыпали члены нашего отряда, одуревшие от дальнего пути. Из кабины спустилась Гульнур-апа, смахнула с носика пыль, сказала «Уф!» и, развернув розовый зонт, устроилась у борта парома. Как всегда, она тотчас попала в окружение женщин. Тут была

и бабка с рыжей козой, и нарядная робеющая молодуха, руководимая толстой свекровью, и несколько девчонок в новеньких тюбетейках. Через десять минут все бурно решали какие-то страшно важные женские проблемы, а карандаш Гульнур-апа бесстрастно строчил в дневнике очередную полевую запись.

Когда паром оказался на середине реки, женщины заволаговались.

— Соль! Давай скорее соль! — торопила свекровь.

Молодуха кинулась к хозяйственной сумке. Она вытащила узелок, заранее, видимо, приготовленный. Чувствуя на себе взоры пассажиров, еще более смущаясь, однако стараясь придать своей походке как можно больше грации, молодуха подошла к борту и высыпала соль в свирепо несущиеся воды.

Позднее я прочитал в полевом дневнике Гульнур-апа: «Чтобы вымолить себе ребенка, бездетные женщины бросают в воду реки соль».

Итак, это было все, что осталось от древнего обычая жертвоприношения, рожденного некогда уже не чувством страха перед сокрушительными силами реки, а почитанием ее в качестве источника жизни. Это другое и, пожалуй, основное свойство великой реки я понимал всегда, но понимал как-то абстрактно. Чтобы наглядно убедиться в том, какую огромную роль играла Амударья в жизни оазиса, зажатого между пустынями Каракумы и Кызылкум, надо было изъездить его вдоль и поперек. Десятки раз во время своих странствий мы пересекали древние, высохшие протоки Амударьи, старые и новые магистральные каналы и их отводы; углубляясь в мертвую зону песков, мы находили следы некогда существовавших здесь оросительных систем и полей. И пожалуй, именно в песках, на землях древнего орошения, особенно наглядно понималось, что означала вода для человека: гибла вследствие тех или иных причин ирригационная сеть, и замирала жизнь, и только торчащие из барханов остатки крепостных стен да обширные россыпи керамики напоминали о прошлой деятельности человека в этих местах.

Все каналы, и в глубине оазиса и на его окраинах, питались и питаются из одного источника — Амударьи. Не удивительно, что уже в глубокой древности великая река в искаженном сознании человека прошлого выступала в величественном образе божества плодородия.

Ардовисура Анахита... «Прекрасная богиня» воды и плодородия. Трудно решить, когда на великих просторах Средней и Передней Азии родился этот поэтический образ. Можно

лишь с уверенностью сказать, что из всех божеств зороастрийской религии, распространенной в среднеазиатских оазисах вплоть до прихода в эти места ислама, Анахита была особенно популярна в народе. Авеста, сборник священных книг зороастрийцев, рисует ее то в образе прекрасной девушки, то в виде богини-матери, покровительницы плодородия, деторождения. Но во всех случаях Анахита — это прежде всего олицетворение водной стихии. Мало того, в основе этого образа лежит совершенно конкретный водный поток, который, по словам Авесты, зарождается в горах Хукарйа и впадает в море Вурукаша. Анахита — мощная река, «широко разливающаяся, целебноносная... выращивающая семена мужей, подготавливающая материнское лоно жен, делающая легкими роды всех жен» (Авеста). Не случаен и эпитет «тысячерукая Анахита»: руки ее — это бесчисленные каналы, по которым воды достигают земель самых отдаленных уголков края, орошая их. Ей, Анахите, приносили жертвы мифические герои, и она дарила им свое покровительство.

Ученые давно уже отождествляют водный поток, олицетворенный в образе Анахиты, с Амударьей. Не случайно в бассейне Амударьи — в Хорезме, по среднему течению на территории древней Бактрии, в долине реки Зеравшана, бывшей некогда ее притоком, — археологи находят в таком изобилии изображения Анахиты в виде терракотовых статуэток.

Культ древней богини плодородия угас после того, как в VIII веке нашей эры в Средней Азии воцарилась новая религия — ислам, принесенный сюда извне. Но исчез ли тот культ совершенно? Не приобрел ли иные формы, приспособившись к новой религии? Неужели горстка соли, брошенная в воды реки, — это все, что осталось от такого мощного жертвенного культа?

Все эти раздумья о прекрасной Анахите, разбуженные эпизодом на паромной переправе, застали меня и мой отряд далеко от великой водной магистрали.

Было заманчиво попытаться ответить на эти вопросы. Но куда прежде всего следовало направить такой поиск?

И меня неудержимо потянуло на берега реки, к людям, которые уже в силу своей профессии имели непосредственный контакт с Амударьей. Я решил отыскать старых речников, совершавших некогда рейсы по Амударье на судах местного, кустарного производства. Я знал, что многие из них, люди уже почтенного возраста, проживали тогда в кишлаках, расположенных недалеко от реки, преимущественно там, где от нее отходят каналы.

Это удалось осуществить в тот же год около Ханки, там, где земли района примыкают к реке. Я ехал не вслепую: у меня были рекомендации ханкинских друзей к одному из бывших дарга — капитанов речных судов, уже давно жившему на покое.

По мере приближения к Амударье ландшафт становился все более унылым — места эти не отличаются живописностью. Ровный голый берег с болотистыми низинками, заросшими камышом, всегда служил выгоном для скота. Маленький кишлак, где жил капитан, расположился на бугре, довольно далеко от реки. Но она была видна отсюда, только ближний ее берег закрывала полоска тугайного леса.

Домик капитана был полон его детей и внуков всех возрастов. Старика я застал в момент, когда он зычным голосом распределял дневные задания всей этой ораве домочадцев. Он выкрикивал команды, и его потомство разбегалось по усадьбе. Я ясно представил, как капитан в былые годы управлялся со своими матросами.

Я вручил «верительные грамоты». По его виду трудно было судить, как относится он к моему вторжению. Это был очень подвижный, ни минуты не остававшийся в покое, небольшой жилистый старик с жиденькой бородкой. Одет он был в старый военный китель и бриджи, на тубетейке был намотан поясной платок. Убедившись, что двор опустел и работы начались, старик повел меня между грядками на дальний край своего участка, где под деревом была небольшая суфа — глинобитное возвышение. За нами семенила девчужка с небольшим паласом и лепешками, завернутыми в дастархан. Когда мы уселись, я понял, почему суфа была далеко от дома: отсюда хорошо видна Амударья. Может быть, в свое время капитан нелегко расставался с рекой. Вслед за лепешками появились чайники, и беседа после некоторой разминки завязалась.

Капитан кричал сердито, отрывистыми фразами. Я было подумал, что он глуховат, но оказалось, что такова его манера разговаривать. То ли в нем жила давняя обида на невольную отставку, то ли, наоборот, его бывшая профессия оставила не слишком уж сладкие воспоминания. Обрывки фраз сердитого капитана, соединенные вместе, как я убедился при обработке записей, слагались, однако, в обстоятельный и стройный рассказ о прошлом амударьинского судоходства.

Речной флот времен Хивинского ханства был крайне примитивен. Большие плоскодонные суда — кема, типа баркаса, ходившие на веслах и под парусом и предназначенные для гру-

зовых перевозок, сооружали местные кустари весьма несложным инструментом. Команда таких судов, несколько напоминавших старорусские ладьи, обычно состояла из дарга — капитана, ярим-дарга — рулевого (он же помощник капитана), повара и пятнадцати матросов.

Судно не было собственностью ни капитана, ни команды в целом, которая представляла собой артель. Эта артель нанимала судно на срок у его хозяев. Владелец бывал кто-нибудь из местных богачей. Чаще три-четыре таких богача составляли нечто вроде акционерной компании. Артель судоводителей арендовала судно на двенадцать месяцев. Договор, скрепленный печатью казия — ханского судейского чина, подписывал капитан, хозяевам вносили небольшой заклад. В свою очередь команда заключала договор с купцами на перевозку грузов. Закончив рейс и получив с торговцев деньги, судоводители часть их вносили в уплату долга хозяевам судна, другая часть денег распределялась между членами команды.

Перевозили зерно, муку, хлопок, коконы, сухофрукты, ткани. Вниз по реке ходили до Аральского моря, вверх — до Термеза. Путь от Ханки до Термеза, вверх по течению, занимал один месяц. Во время длительных рейсов люди мокли под дождем, сгорали на солнце, их обжигали пронизывающие осенние ветры. Но не это было самым трудным. Неимоверно сложна была каждодневная борьба с Амударьей, с неожиданно возникавшими отмелями, со свирепыми течениями, стремительно несущими баркас к береговому откосам; нередки были кораблекрушения. Но пожалуй, более всего изматывали силы людей те участки пути, когда не помогали ни весла, ни парус и почти вся команда впрягалась в лямки и, двигаясь по берегу, бечевой тащила тяжело груженное судно против течения. Недаром матроса амударьинского судна называли солдовчи, то есть лямочник, бурлак.

Амударьинские бурлаки. Стоило капитану упомянуть о них, как в памяти возникла картина из далекого прошлого. Да, я их видел, бурлаков. Было это в то памятное путешествие по Амударье в 1932 году. Они несколько раз встретились нам на пути, но запомнились на одном особенно трудном участке. Раздвигая заросли тростника в два человеческих роста, покрывавшие низкий берег реки, полураздетые, облепленные грязью, по колено в грязи, они медленно шли цепочкой, согнувшись почти пополам; от них к баркасу, ползущему по воде, тянулась бечева. На баркасе был только один человек, поминутно проверявший шестом глубину воды. И вслед за

этим воспоминанием невольно возникает мысль: как все кругом изменилось, если за какие-нибудь сорок лет и этот примитивный транспорт, и этот каторжный труд стали достоянием истории!

А капитан продолжал свой рассказ. Каждый новичок, прежде чем стать полноправным матросом, проходил сложную систему обучения. И здесь, как в ремесленных цехах, существовало ученичество, во время которого новичок в течение ряда лет овладевал навыками матроса. Конечно, прежде всего надо было изучить капризный характер Амударьи. И работа на веслах, и обращение с парусом требовали сноровки и умения. Но и труд бурлака, для которого, казалось бы, нужна была только неимоверная физическая выносливость, был не столь прост. Каждая мелочь имела значение — как укрепить лямку, как держать корпус, руки, как ставить ногу; неверный шаг мог сбить с хода всю цепочку бурлаков и задержать рейс.

Обучением молодых матросов занимался помощник капитана. Когда срок обучения кончался и ученик признавался годным для самостоятельной работы, капитан совершал обряд посвящения в матросы. Благословением капитана же заканчивалось обучение кого-либо из матросов, претендовавших на должность помощника капитана или самого капитана.

Жили судоводители в кишлаках, расположенных по побережью. Профессия их передавалась по наследству. Некоторые члены их семейств занимались сельским хозяйством. Браки по традиции заключались внутри этой своеобразной корпорации. Теперь, по словам сердитого капитана, когда старинное судоходство почти исчезло, люди в основном не связаны с рекой и работают в полеводстве. Но и сейчас довольно значительный процент молодежи из этих семей занят на речном флоте, плавая на пароходах, катерах и баржах. Любопытно, что до наших дней, по словам капитана, жива старая традиция: молодые речники, овладев специальностью, получают «благословение» от старых, опытных капитанов, живущих на покое или еще работающих кем-либо на амударьинских пристанях. Такое благословение сейчас утратило свой религиозный смысл и является простым напутствием молодому человеку, начинающему самостоятельную жизнь.

Немало интересного записал я у капитана. А как же Анахита? Неужели надежды не оправдались и никаких следов почитания божества водной стихии, никаких обрядов, связанных с ней, не всплыло во время беседы? К сожалению, это так. Все, видимо, зависело от индивидуальности собеседника, а ее этнографы не всегда в должной степени учитывают. Им

кажется, что все люди одного возраста и одной примерно среды должны в равной степени быть осведомлены в тех вопросах, которые их интересуют. Это далеко не так. Примером может служить сердитый капитан. Вероятно, отличный дарга, хороший организатор, он, несомненно, был всегда человеком практической жилки, весьма реалистически смотрящим на окружающий мир. Область религиозных верований ему могла быть чужда и раньше. Конечно, и он исполнял обряды, связанные с профессией, и многое слышал от стариков. Но для него, человека дела, все это было где-то на заднем плане и со временем стерлось из памяти.

И я не был назойлив. Опыт подсказывает, что, если собеседник не ухватится сразу за интересную для вас тему, если по крупницам приходится вытягивать нужные сведения, они никогда не будут ни полны, ни точны. Я был уверен, что рано или поздно встречу среди речников того, кто мне нужен. Тем более что у меня был на примете еще один старый капитан. К нему через несколько дней и отвез меня его приятель — ханкинский мулла Садулла.

Ходжи-бобо, так все называли этого капитана, жил далеко от реки. Это был человек совсем иного склада, нежели первый капитан.

Мы сидели в большой полупустой комнате для приема гостей на чудесном текинском ковре. Высокий потолок тонул во мраке, только из окна проникал в комнату сноп солнечных лучей, высвечивая пестрые узоры на ковре. Я невольно любовался нашим хозяином. Ему было уже около восьмидесяти, но он был прям, как стрела. Высокий, худощавый, в голубом халате, Ходжи-бобо сидел поджав ноги на ковре, и казалось, только что сошел с восточной миниатюры. На темном от времени лице, строгом и спокойном, выделялась своей белизной густая борода, шелковистыми прядями сбегавшая на грудь. Движения его были скупы и изящны. Мне даже почудилось, что старик немного позирует. Во всяком случае он знал, что производит впечатление.

Было тихо. Большой дом казался необитаемым. Но по легким шорохам, доносившимся иногда из-за двери, открытой во внутренние покои, можно было догадаться, что кто-то внимательно следит за главой семьи, понимая без слов его желания. И время от времени бесшумно появлялся подросток, то неся разожженный чилим, то добавляя что-нибудь на дастархан или меняя чайники и так же бесшумно исчезая. Здесь царили дедовские патриархальные традиции, строго соблюдался старинный этикет гостеприимства.

Со слов муллы Садуллы я знал, что старый капитан в давние годы совершил хаджж — паломничество в Мекку, посетил священные для мусульманина места Аравии; отсюда и его звание ходжи. Но я считал неудобным расспрашивать его об этом путешествии, а сам он не проявлял в этом отношении инициативы.

Зато об Амударье он говорил много и интересно. Вначале были, конечно, неизбежные повторения того, что я уже слышал от сердитого капитана. Но и они были полезны. Ходжи-бобо дополнил эти сведения; кроме того, проверка полученных данных через вторые и третьи лица — одно из основных правил этнографических исследований.

Наконец наша беседа приняла то самое направление, которого я так желал. Амударья постепенно теряла свой утилитарный характер, превращалась в некий живой организм, наделенный сверхъестественными силами. Такой видели ее когда-то люди, целиком зависящие от нее.

Самое интересное, что удалось узнать, связано с арангярами.

Арангяры — особые, враждебные человеку духи, живущие якобы в глубине вод Амударьи и управляющие их течениями. По злой прихоти арангяров река наматает отмели, подмывает берега, разбивает в щепы суда, выходит из берегов. Арангяры бесплотны, невидимы и всегда выступают во множественном числе. Впервые об этих духах я услышал от муллы Садуллы, который, стараясь объяснить мне, что это такое, весьма опрометчиво для своего звания (и не подозревая, как он прав) сравнил их с ангелами, но потом, устыдившись столь вольнодумного сравнения, приумолк и даже попросил позднее вычеркнуть свои слова из полевого дневника.

А капитан рассказывал об арангярах так, как будто бы ежедневно имел с ними дело. Это не удивительно. Уж кто-кто, а он за сорок пять лет, проведенных на реке, знал, какие опасности таят течения Аму. Но оказалось, арангяры не столь уж всеильны, если им противостоит человеческая отвага.

И Ходжи-бобо поведал нам старую легенду, родившуюся на берегах канала Газават в окрестностях Ханки. Сейчас Газават заглох рядом с такими усовершенствованными каналами, как Шават и Палван, но в прошлом он играл заметную роль в водном хозяйстве левобережья. Однажды, гласит легенда, Амударья неожиданно бросила в канал такую массу воды, что она вышла из берегов и стала затоплять посевы и кишлаки. Это вырвались на свободу злобные арангяры, объявившие войну человеку. Народ в ужасе метался по берегу,

бессильный что-либо сделать. И тогда с горы к каналу спустился ишан, духовный наставник, известный своей праведной жизнью. Он шел с мечом в руках, чтобы сразиться с аранглырами. Войдя в воды канала, он стал медленно погружаться в мутный бурлящий поток, а потом исчез. Люди молча ждали. И вода успокоилась, течение замедлилось, водовороты затихли. А затем на поверхности воды растеклось огромное кровавое пятно и всплыло израненное тело ишана. С тех пор якобы и назвали канал Гази-абад, так как гази — это герой, погибший в битве с врагом.

То, что Ходжи-бобо рассказал об аранглырах, для этнографа представляет большой научный интерес. Вера в лишенных каких-либо индивидуальных черт подводных духов, враждебных человеку, возникла в те отдаленные времена, когда человек, еще бессильный в борьбе с природой, населял окружающий мир сверхъестественными существами — духами, от которых на каждом шагу мог ожидать всяких неприятностей.

Но столетия сменялись столетиями, и человек, вступавший в более тесный контакт со своенравной рекой, научился разгадывать ее характер, противостоять ее прихотям. Он овладел ее богатствами: рыболовство, например, в Южном Приаралье, как свидетельствуют археологи, существовало уже в IV тысячелетии до нашей эры. Самое примитивное земледелие здесь началось на землях по берегам естественных протоков. А потом человек научился выводить воды реки на свои поля при помощи искусственных каналов и создал в низовьях Аму широко разветвленную ирригационную систему. Он строил плотины на каналах и дамбами укреплял берега протоков. И только когда человек вышел из слепой зависимости от Амударьи и река стала щедро дарить ему свои благославления, прежде всего питать водами его поля, в религиозных представлениях мог сложиться образ Анахиты, прекрасной богини плодородия.

Однако вернемся в прохладные покои Ходжи-бобо на текинский ковер и послушаем еще старого капитана. Вся жизнь судоводителей была связана с рекой и зависела от нее. Поэтому в начале всякого дела — при спуске на воду вновь сооруженного судна или при начале длительного рейса — необходимо было отдать себя и свой баркас под покровительство божества реки. Команда судна, а также его хозяева и купцы, отправители грузов, совершали весьма интересную церемонию. На баркас вводили барана или козла и совершали жертвоприношение, спуская кровь животного в воду Амударьи. Реке посвящалась и следующая за этим ритуальная

трапеза, когда мясо заколотого животного варили и съедали участники обряда.

Любопытен и другой момент церемонии спуска на воду нового баркаса. Когда он касался воды, в реку сталкивали капитана судна; но чаще он откупался деньгами.

Эти обряды, совершавшиеся в прошлом речниками, не имеют никакого отношения к мусульманству; истоки их лежат в доисламских верованиях. И невольно опять вспоминается древний гимн Авесты, посвященный Анахите. Вряд ли случайно в нем среди других персонажей, облагодетельствованных богиней-рекой, упоминается некий лодочник Парва, которому Анахита в благодарность за принесенные ей жертвы оказала свое покровительство.

Иногда судоводители совершали жертвоприношения Амударье и во время самого рейса, когда неожиданно поднималось опасное волнение. В этих случаях в воду бросали соль — все ту же соль, с которой на паромной переправе началось мое знакомство с рекой — богиней плодородия. Но почему именно соль? Быть может, потому, что она растворяется и может быстро насытить воды реки? А может быть, потому, что с глубокой древности соль в этих пустынных местах считалась одним из драгоценных продуктов?

Я все более внимательно вслушивался в рассказ Ходжи-бобо.

Амударьинские баркасы, пожалуй, были примитивнее аналогичных судов других народов — ладей, античных галер и др. Но одно обстоятельство сближало с ними. Было на судах место, которому придавалось особое, священное значение. Это место — нос судна, по-местному — боша. Боша изображало человеческую голову. Ходжи-бобо, а позднее другие речники подробно описывали его. «Когда судно поворачивалось, казалось, что кто-то поворачивает голову», — говорили они. Соответствующим образом обтесанная носовая часть судна украшалась двумя или несколькими длинными косами, сплетенными из конского волоса, в центре было одно или два зеркала (глаза?), с боков на полосах черной материи были нашиты монеты, раковины и амулеты. Не могло быть никакого сомнения в том, что носовая часть имитировала изображение женской или девичьей головы с соответствующей прической и украшениями. Чем же изображение красовалось на носу судна? И тут я натолкнулся на одну исторически сложившуюся неслепоту, характеризующую, видимо, довольно позднюю деградацию религиозных верований.

Ходжи-бобо и другие речники говорили, что на судах была

изображена голова Нуха — святого покровителя судоводителей. Мусульманский Нух — это Ной, тот самый библейский Ной, который на своем ковчеге носился по волнам всемирного потопа. Этот эпизод заимствован Кораном из Библии. Казалось бы, что все вполне логично: Нух сделался покровителем речников, его голову изображали на носу судна. Однако эта логика оказывается совершенно несостоятельной. Предположение, что в мусульманское время (образ Нуха появился в Средней Азии только вместе с исламом) мог сложиться обычай изображать человеческие головы (строго запрещенный исламом), — явная нелепость. И если это изображение Нуха, то почему же с женской прической и украшениями? Какой позор для почтенного патриарха!

Однако оставим в покое незадачливого Нуха. Не вызывает никакого сомнения то обстоятельство, что в древности нос амударьинского судна украшался изображением божества реки, Ардвисуры Анахиты. Во все времена у разных народов было принято украшать суда изображениями водных божеств и духов.

Итак, древняя богиня плодородия не была окончательно забыта. Пусть мусульманская религия, пришедшая на смену зороастризму, лишила ее имени, но, и безымянная, она продолжала жить в народных верованиях и обрядах. Это прежде всего относится к сфере специфических женских обрядов. Напомним, что одной из главнейших функций Анахиты было покровительство деторождению и облегчение родов. Именно в этой связи и Амударья на долгие столетия сделалась столь притягательной для тех женщин, которые магическими и жертвенными обрядами стремились преодолеть недуг бесплодия.

Дальнейший рассказ Ходжи-бобо, а также сведения, добытые нами несколько позднее уже непосредственно от женщин, это подтверждают.

Как бы далеко от реки ни проживали женщины, не имеющие детей, они стремились попасть на берега Амударьи. Здесь они совершали особый ритуал: на рыбацких лодках дважды пересекали реку и бросали в ее воду жертвенные лепешки и соль. Причем считалось, что, чем меньше лодка и сильнее качает на волнах, тем больше вероятность забеременеть.

Особенно стремились женщины совершить такое магическое турне на юг оазиса, в район Питняка. Я как-то побывал в этом месте. Здесь на реке, ближе к левому берегу, овальным пятном темнеет островок Аранджа-бобо, весь заросший деревьями. Даже издали между ветвями можно различить шесты с

полотнищами над могилой святого. Лодки обычно причаливали к острову, и женщины совершали паломничество к могиле. Считалось, что на острове пребывают детские души, невидимые людям. Заполучить такую душу и забеременеть было желанием каждой паломницы.

Позднее от знакомых женщин мы узнали, что имелось множество способов «уловить» душу, освободившуюся от телесной оболочки. Такая душа с рождением ребенка может начать новый жизненный цикл. Так, в Ханки нам поведали, что можно поймать, как порхающую бабочку, душу умершего человека. Когда умирал очень старый человек, имеющий многочисленное потомство, бездетные женщины устраивали настоящую охоту за его душой. По мусульманским законам женщины не сопровождают траурную процессию на кладбище. Но когда она двигалась по улицам селения, в переулках и тупиках ее караулили бездетные женщины. Со всех сторон они кидались на дорогу, стараясь пересечь путь траурной процессии, и бросали на носилки с телом умершего отрезки материи и деньги. Каждая из них надеялась, что именно она за этот выкуп приобретет душу умершего, которая, по существующим поверьям, следует за телом покойника. Интересно, что не всякую душу стремились поймать, а только душу человека, прожившего много лет, здорового и многодетного, чтобы и ребенку передались эти завидные качества.

Но не будем слишком удаляться от Амударьи. Ходжи-бобо еще не закончил своего рассказа. Не только сама река, но и все, что соприкасалось с ее водами, наделялось бездетными женщинами особой силой плодородия. Это прежде всего относится к амударьинским судам.

— Когда мы возвращались из рейса, — рассказывал Ходжи-бобо — прослышавшие об этом бездетные женщины сбегались из окрестных кишлаков к месту нашего причала. Уже издали мы видели их на берегу под деревьями. Стоило нам покинуть судно, как они кидались на баркас. Они опускали ладони в воду, скопившуюся на дне, и заполняли ею бутылки, подлезали под скамьи для гребцов и трижды обходили вокруг мачты. Но особенно их привлекал нос судна с его украшениями. Это место у нас, речников, считалось запретным. Здесь находился только капитан. Рядовые матросы, во время рейса работавшие обычно без штанов, сюда не допускались, дабы не оскорбить почитаемую часть баркаса. Конечно, мы старались не допустить к носу судна женщин, и один матрос всегда оставался сторожить баркас. Но кому-нибудь из них все же удавалось проскользнуть к носу, прикоснуться ладонями к изо-

бражению головы и даже срезать прядь волос. Эти волосы они после жгли и дымом окуривали себя.

Любопытна роль капитана судна во всем этом обрядовом комплексе. Бездетные женщины стремились всегда получить у него благословение. Возможно, в глубокой древности капитан нес какие-то жреческие функции в культе великой богини реки. В курьезной форме эта традиция дожила до наших дней. Мне приходилось видеть, как женщины на переправах за мизерную мзду получали благословения от паромных билетеров.

Мусульманская религия, проникшая в Среднюю Азию в VIII веке, прежде всего постаралась заменить старые божества своими святыми. Не избежала этой участи и Ардвисура Анахита. Чтобы вытеснить культ столь популярной богини плодородия, пришлось создать мусульманский эквивалент.

Так появился на свет образ хорезмской святой Амбар-она, ставшей покровительницей деторождения. По всем низовьям Амударьи от Кунграта до Питняка и даже выше по течению реки известно имя святой, судя по легендам, ничем не примечательной, кроме ее материнской привязанности к сыну — святому Султану Хубби, который после конфликта с отцом бежал из дома и скрылся в водах Амударьи.

Легендарные мать и сын поделили между собой основные функции Анахиты: Амбар-она взяла под свою опеку женщин и детей, Султан Хубби стал покровителем на водах Амударьи.

Но и сама Амбар-она, эта преобразованная на мусульманский лад Анахита, не потеряла связь с рекой. Ее имя произносят женщины, совершая ритуальное путешествие по водам Амударьи. Посвященные ей святилища располагаются по течению реки на обоих берегах. Одно из них находится в горах Каратау. В урочище Шейх Джелиль у подножия гор есть священный родник Джидали-булак, от которого узкая тропинка почти отвесно поднимается в горы. Здесь на довольно большой высоте вы увидите нагромождение камней с воткнутым среди них шестом с полотнищем, к шесту привязано множество ленточек — обетные дары паломниц. В этом месте, согласно легенде, Амбар-она в своих скитаниях вдоль реки дошла дикую козу. Такой тип святилища, видимо, наиболее древний.

Слушая Ходжи-бобо, я ловил каждую деталь его рассказа, и уже в ходе нашей беседы складывалось довольно четкое представление о культе Амударьи. Я уехал от него, обогащенный очень ценными сведениями.

Но в цепи моих поисков оставалось еще одно неясное звено. В Хорезме никогда не было богарного, неполивного, земледелия, оно целиком зависело от Амударьи. Поэтому хо-

телось узнать, считалась ли она священной и у земледельцев.

Вяснить это было не так-то просто. Заранее можно было сказать, что в современном Хорезме, где по полям проплывают тракторы и хлопкоуборочные комбайны, где сложная техника регулирует водоснабжение посевов, а от человека, вооруженного научными знаниями, зависит урожайность, чувство зависимости от реки и, следовательно, бывшая вера в ее сверхъестественные свойства давно исчезли. Но быть может, какие-то следы культа остались хотя бы в воспоминаниях старых людей? Надо было попытаться узнать.

И начался заключительный этап моего знакомства со священной Амударьей, причем далеко от нее, в самом центре земледельческого оазиса, в кишлаках северо-восточнее Хивы. Когда-то здесь сеяли в основном пшеницу. Недаром одно из селений называется Гандумион или, как расшифровали мне его жители, Гандум-кон, то есть «пшеничные копи», «пшеничные залежи». В этих местах проходит один из старейших каналов Хорезма — Палван-яб, имевший множество отводов. Сейчас в этих местах богатейшие хлопковые плантации. Я видел кусты в рост человека; на хлопковом поле можно было заблудиться, как в лесу.

Я жил на полевом стане, где в моем распоряжении были айван — навес маленького домика, а также хауз — водоем, обсаженный пирамидальными тополями. Кругом было сплошное море зелени — хлопковые просторы и шеренги тутовых деревьев. Кишлаки были дальше. По ночам я ставил койку на берегу хауза. Тишина была такая, что звенело в ушах.

Август — это краткий период, предшествующий уборке хлопка, когда, как и в зимний сезон, проводятся свадебные празднества. На одну такую свадьбу был приглашен и я.

Я задержался и уже в полной темноте пересекал по тропкам хлопковые поля, перескакивая через маленькие арыки. Селение было недалеко, и скоро я плутал уже между высокими серыми стенами усадеб. А потом из темноты сразу попал на ярко освещенную лампами и факелами площадку перед воротами дома, где происходило торжество. Здесь шумел народ, играла музыка, было весело и красочно. На паласах и коврах полукольцом расположилось человек полтора. У стены дома сидели музыканты. Началось уже томошо — зрелищная часть праздника.

Сначала меня отвели в один из домов, где по старому обычаю соседской взаимопомощи принимались особо почетные гости. Все уже были на улице, и я в одиночестве ел неизменный

плов. Напротив сидел очень толстый, сонный хозяин дома и терпеливо ждал, когда я закончу есть, опираясь на бутылку, из которой, несмотря на протесты, он методически подливал в мою пиалу. Потом я опять попал на томошо. Меня втиснули между стариками. Все пили чай и слушали музыкантов. Это были уже не первой молодости женщины — артистки из Хивы. Одна играла на дутаре, другая — на бубне. Третья пела и, время от времени выходя в круг, танцевала.

Моим соседом справа оказался древний дед. Он сидел согнувшись, смотря мутными глазами на крышку чайника. Но иногда старик вдруг оживал и, видимо механически следуя привычке завязанных поклонников музыки и пения, ударял себя в грудь и тоненьким голоском восторженно кричал: «Дост!» В эти минуты дед, наверное, опять чувствовал себя лихим джигитом и гулякой.

Усевшись рядом с Юсуф-бобо, я и не предполагал тогда, что встречу с ним еще раз.

На свадьбе дед совсем раскис, и разговор с ним не состоялся. Дня два спустя, совершая в жаркий полдень пеший переход из одного селения в другое, я остановился отдохнуть на берегу канала Палван-яб. Здесь росли старые деревья, тень их спасала от палящего солнца. Воды в канале было мало, и она подавалась вверх насосом; урчал дизель, и около него возился молоденький колхозный механик. Я сидел в тени и читал свои записи в полевом дневнике.

К каналу медленно спустился старик с палкой, и я узнал Юсуф-бобо. Дед походил вокруг дизеля и насоса, постучал посохом по трубам. Наверное, он уже много лет ходит сюда и все удивляется новшествам. Я окликнул его и напомнил о нашем знакомстве. Юсуф-бобо уселся рядом и снял свою овчинную шапку. Он оказался весьма разговорчивым. Мы поговорили о чудесах современной техники.

Казалось, совсем недавно во всем Хорезме раздавался скрип колес бесчисленных чигирей. Чигирь — это сооружение для перекачки воды из большого арыка в малые, разносящие ее по полям. Он состоит из системы трех деревянных колес. Два из них, очень грубо сбитые из брусьев, приводятся в движение верблюдом, уныло бродящим по кругу. Они вращают горизонтальную ось, на которой укреплено вертикальное, более легкое, но больших размеров третье колесо с привязанными на нем глиняными кувшинами — дигирями. Погружаясь вместе с колесом, дигири черпали из большого арыка воду и переливали ее в деревянный желоб. Из него вода шла на поля. Медленно, засыпая на ходу, брел верблюд, скрипели колеса,

лениво текла вода. Чигирь — это символ той, прошлой жизни Хорезма. Сейчас с чигирем можно встретиться только в музее. А в 1926 году в одном лишь Хивинском уезде их было более тысячи.

Юсуф-бобо против чигирей — насос и дизель ему больше по душе. Но стоит ли с презрением вспоминать неуклюжего скрипучего друга хорезмских крестьян, без которого в те времена трудно было обходиться?

Чигирь сооружали обычно зимой, мастер и его помощник справлялись с этим делом за десять — двенадцать дней. Окончание работ отмечали маленьким тоем — празднеством. То же происходило в весенний день, когда чигирь давал первую воду на поля. Трапеца происходила на открытом воздухе, около чигиря.

Вода, которая поступала на поля и в селения, окружалась ореолом святости, и загрязнять воду канала считалось грехом. Если она была чем-либо осквернена, особенно когда в ней оказывалась падаль, происходила сложная церемония ритуального ее очищения. Когда весной первая вода начинала течь по полям и кишлакам, бездетные женщины перепрыгивали через арык, чтобы, как и на Амударье, приобщиться к плодотворной силе ее вод.

Я спросил Юсуфа о тех бедствиях, которые приносило в старину маловодье. Да, Юсуф-бобо хорошо помнит страшные годы, когда в самую пору полива на дне каналов лениво текла вязкая, илистая вода, поднять которую нельзя было и чигирем, а все кругом изнывало от жары. Людей и животных спасали колодцы, а поля медленно гибли. Что можно было сделать? Ведь в Хорезме не имелось водохранилищ, а с мая по сентябрь дождь здесь — крайне редкое явление. Юсуф-бобо развел руками и помолчал.

А потом он вспомнил о любопытных обрядах, соблюдавшихся здесь во времена Хивинского ханства.

Весной, когда уровень воды в Амударье предвещал уже заранее недоброе и была опасность маловодья, в головах магистральных каналов происходили события, весьма примечательные. В эти дни кончалось казу — ежегодная очистка каналов, на которой трудились люди из земельных общин, расположенных по их течению. Участники работ постепенно стягивались к верховьям канала, к реке. Здесь, в голове каждого канала, народ собирался со всего Хорезма. Кишлаки в эти дни пустели. На арбах, конях, ишаках, часто захватив всю семью, люди съезжались к реке. Везли продукты, посуду, гнали баранов. Чинно ехали убеленные сединой старики.

Шумными компаниями, с музыкантами, певцами и плясунами проносились молодые джигиты. Торговцы везли свои товары. Среди расступавшейся толпы важно проезжали в фаэтонах ханские сановники, окруженные свитой. Особенно много было мулл и ишанов.

В голове канала вырастал огромный временный лагерь. Дымили костры, ревели ишаки, между арбами бегали ребята-тишки. Около котлов хлопотали женщины, переговариваясь возбужденными голосами. В тени деревьев старики пили чай.

Наконец наступал момент, когда все население лагеря выходило на берега канала. Здесь у самого его выхода из реки еще оставалась неширокая перемычка, сдерживавшая напор воды. Человек двадцать с кетменями стояли наготове. Главный мираб — распределитель воды давал знак, перемычку рушили, и вода из реки с шумом неслась в канал.

Когда вода заполняла голову канала, происходило самое главное. Несколько человек торжественно подводили к берегу быка, которого специально для этой церемонии посылал сам хан или кто-либо из его приближенных. Стреноженному животному резали шею и тушу сбрасывали в воду канала. Народ молился. «Сувли болсин! Хосилдор болсин! Кобчилик болсин!»¹ — говорили люди.

И тут же с берега и с заранее приготовленных лодок в воду стремглав бросались десятки полураздетых джигитов из общин, пользовавшихся водой этого канала, и начиналась борьба за тушу быка. Победившая община вытаскивала ее на берег. Тушу разделявали, мясо варили в огромных котлах и раздавали всем желающим. Иногда в воду сталкивали мирабов, или они откупались деньгами. Муллы и ишаны молились об урожайном годе. Торжество длилось два дня.

Смысл этого ритуала был предельно ясен. Это было общественное жертвоприношение водам Амударьи, оно должно было обеспечить обилие воды и богатый урожай текущего сезона. Так объяснил мне старый Юсуф, так позднее подтвердили другие мои собеседники. Правда, некоторые старики утверждали, что при совершении обряда быка сбрасывали не в канал, а в Амударью и потом его не вытаскивали на берег, а оставляли «на съедение рыбам». Так или иначе, это был дар Амударье земледельцев, ждущих от великой реки помощи в их труде. Это был тот обряд, которого мне так не хватало для воссоздания более полной картины культа реки. Обряд этот исключительно древний. Бык, приносимый в жертву Анахите,

богине водной стихии, нередко упоминается в авестийских текстах. Как же сильна была традиция, если из самой глубины времен через многие столетия она дожила до начала нашего века!

Обряд жертвоприношения реке уже давно ушел из быта земледельцев Хорезма. Не только молодежь, но и люди среднего поколения не знают о нем. И только поистине золотая память стариков сохранила его.

Итак, еще один цикл моих поисков был завершен. Поздней осенью, возвращаясь домой, я увозил с собой полевые дневники, полные ценных записей. Год для меня выдался «урожайным», и обязан этим был я все той же великой реке, источнику плодородия. С новым чувством смотрел я на быстро несущиеся воды Аму, в последний раз переправляясь на ее правый берег. Чем отблагодарить тебя, река? Соли со мной не было. Я подошел к борту парома и опустил в воду монетку; река благосклонно приняла мой дар.

Когда машина преодолела клубы береговой пыли и неслась по асфальтированному шоссе, я оглянулся, и уже изда-лека прекрасная Анахита прощально блеснула своим золотистым покрывалом.

¹ Да будет вода, да будет урожай, да будет достаток!



Примерно с 1958 года члены Хорезмской экспедиции, не знаю уж с чьего почина, окрестили наш отряд кладбищенским. Этим мы обязаны отнюдь не характерам его участников: все мы были веселыми и жизнерадостными. Но нам необходимо было ответить на целый ряд вопросов, связанных с погребально-поминальным культом, сохранившим многие элементы архаики. Отныне хорезмские кладбища стали для нас обжитым «домом».

В отряде не все одинаково отнеслись к этому направлению в работе. Гульнур-апа с самого начала в страхе зажмурилась и сказала, что будет заниматься своей коронной, куда более веселой темой — свадебной обрядностью; Иван Петрович совсем помрачнел, когда во время маршрутов мы обосновывались на кладбищах. Садреддин вяло бродил между могилами и молча терпел.

Только мы со Стеблюком увлеклись новым делом, образовав довольно устойчивый «заупокойный» дуэт. Меня интересовали способы захоронения и погребальный церемониал в целом, он занялся архитектурой мазаров — мавзолеев святых, без которых не обходится ни одно хорезмское кладбище. Я заглядывал в могильные проемы и промоины, записывал и фотографировал; он залезал на порталы и купола, обмерял, чертил и зарисовывал. Мы отлично понимали друг друга, пока вся эта мрачная «эпопея» ему не приелась. Его можно понять: подобные объекты могут вогнать человека в ипохондрию. Он вовремя ретировался, и я остался один среди обитателей могил. Но я нашел с ними общий язык. Не раз просиживал я в каком-нибудь склепе, записывал и зарисовывал; хозяева склепа на меня не обижались.

Начало всему этому было положено в тот день и час, когда, проплывая в волнах пыли по дороге Ургенч — Ханки, я случайно повернул голову направо и мое внимание было привлечено весьма необычными сооружениями.

Это было небольшое кишлачное кладбище, старое, неогоро-

женное, обсаженное зарослями джиды, с редкими пучками сухой, до белизны выжженной солнцем травы. Довольно беспорядочно расположенные, но одинаково ориентированные с востока на запад надгробия, так называемые сагона — сводчатые склепы для одиночного захоронения, были хорошо нам знакомы; их можно встретить в разных местах Средней Азии.

Но между ними то там, то здесь возвышались какие-то строения, по форме напоминающие овощехранилища. Только когда мы подошли к ним близко, все стало ясно. Это были тоже могилы — сагона, но рассчитанные не на одного, а на десятки покойников сразу. Значительно выше человеческого роста, достигающие в длину пятнадцати — двадцати метров, со стенами, сложенными из могучих пахсовых (глинобитных) блоков, — в полном смысле слова «дома мертвых», куда переселялись целыми поколениями умершие члены больших по численности фамилий. В проломы стен были видны перегородки, образующие отсеки; это было «жильем» малых семей таких фамилий.

С этих длинных могил, как мы окрестили эти сооружения, и начался наш новый поиск. В течение трех полевых сезонов мы со Стеблюком изъездили всю Хорезмскую область, были в соседних районах Туркмении и Каракалпакии. Северная граница наших маршрутов шла по линии Куны-Ургенч — Ходжейли — Нукус, на юге мы вышли к пескам, обследовав кишлаки Питнякской луки.

Один путешественник былых времен, побывавший в Хорезме, отмечал, что «оригинальные кладбища, мелькая среди зелени своими высокими памятниками, приятно разнообразили путь»¹. Казалось бы, что может быть приятного от соприкосновения со столь грустными местами. Но автор был прав, он был точен в передаче увиденного и собственных ощущений.

Нигде в Средней Азии я не встречал на кладбищах такого своеобразия, как в Хорезме. Вместо скучных, стандартных земляных холмиков, прикрывающих захоронения, на хорезмских кладбищах красуются наземные склепы самых причудливых форм. Сводчатые сагона, расположенные на поверхности земли и на высоких искусственных возвышениях из бревен, балок и камыша; коллективные «дома мертвых» с нарами в два и три этажа; склепы в виде миниатюрных купольных сооружений с ложными порталами и лазами вместо дверей; кубической формы каркасные сооружения; деревянные ящи-

¹ А. Хорошхин. Сб. статей, касающихся до Туркестанского края. СПб., 1876, стр. 476.

ки-саркофаги разного размера и конструкции... Подробное описание их заняло бы слишком много места, да и вряд ли читатель в полной мере представил бы себе, что такое хорезмское кладбище. Для этого надо самому увидеть хотя бы величественный некрополь Шейх Касим-бобо, что раскинулся восточнее Хазараспа. Некрополь расположен на открытом ровном месте, лишенном всякой растительности. Издали он особенно эффектен: на фоне голубого неба он кажется белоснежным в россыпи куполов, башен и бесчисленных сводчатых могильных сооружений. Это сказочный город, покинутый людьми, но весь залитый жарким радостным солнцем.

И здесь же, в Хорезме, вы встретите сказку совсем иных красок. Следуя из Ташауза в Ургенч, сверните с шоссе направо, к небольшой купе деревьев среди бесконечных хлопковых полей. Это тоже древнее кладбище. В сером полумраке чащобы старые как мир, поседевшие от времени и пыли деревья переплелись ветвями так тесно, что небу не прорваться даже крохотным просветом в это царство смерти. Наполовину высохшие, они почти лишены листвы, жизнь их теплится только где-то высоко в кронах. Их узловатые стволы наклонились в разные стороны. Мы продираемся сквозь эти джунгли, со всех сторон нас хватают колючие кусты, такие же сухие и белесые. Ноги вязнут в трухе и пыли. Сам воздух здесь кажется окрашенным в пепельно-серый цвет. Между стволами стоят громадные гробы, деревянные саркофаги; внешняя обложка их облупилась, и наружу торчат доски грубо сбитых стенок. Ящики вросли в землю и покосились, иные развалились, обнажая кости и черепа. На кладбище у подножия стволов — тишина, звенящая в ушах, и только где-то в высоте дикими, гортанными голосами гомонят мириады гнездящихся здесь галок. Все тут тронутو временем: и деревья, и кусты, и творения рук человеческих. Неожиданно в гуще стволов возникает купольный мавзолей, такой же древний, осевший в землю и растрескавшийся; около него, налезая один на другой, сгрудились могильные ящики. С трудом открываешь низенькую дверцу, более похожую на лаз, и попадаешь в полутемное помещение — преддверие усыпальницы. Свет сюда проникает в единственное оконце у потолка. Вы с удивлением оглядываетесь: все стены с потолка до пола увешаны десятками вышивок. Только приглядевшись, понимаешь, что это не вышивки (в Хорезме не вышивают), а сшитые из мелких пестрых лоскутков материи квадратные коврики разного размера, обетные дары паломниц этому мазару. Никогда не бывшие в употреблении, они казались только что сшитыми и развешанными и являли

собой поразительный контраст всему окружающему на этом своеобразном островке. Вы закрываете дверь и с трудом пробираетесь на дорогу, под жаркое летнее солнце. Вы оглядываетесь назад, на этот остров смерти, отчужденный от прочего мира. Кажется, поднеси зажженную спичку к этому нагромождению высохших деревьев, ветвей, кустов — и они, мгновенно вспыхнув, превратятся в гору пепла...

Меня интересовал вопрос: где (на какой территории), среди каких этнических слоев населения распространен наземный способ захоронения, противоречащий правилам ислама, и каково происхождение этого обычая. Обследовав большое количество хорезмских кладбищ, мы обнаружили довольно значительный район наземных захоронений, охватывающий Южный Хорезм. Именно здесь проживает население, которое ученые по ряду признаков считают прямыми потомками древних хорезмийцев, аборигенов оазиса. Кругом, среди более поздних пришельцев, распространен обычай захоронения в земле.

Раз это так, то и истоки обычая наземных захоронений следовало искать в домусульманских культах, и прежде всего обратиться к зороастризму. Направление поисков было выбрано правильное. Уцелевшие тексты Авесты — священного писания зороастрийцев — свидетельствуют, что по строгим канонам этой религии все, что мертво, особенно тело умершего человека, считалось сакрально нечистым, оскверняющим все окружающее; захоронение в земле почиталось тяжким оскорблением этой священной для зороастрийцев стихии.

Итак, древняя традиция оказалась живучей. Конечно, древние обоснования обычая уже стерлись. Находили уже иные причины.

— Зарыть умершего в землю, не построив ему склепа, — это знак неуважения к покойному, — говорили мне старики.

Высказывались и иные соображения.

— В старое время тот участок поля, где было обнаружено мертвое тело, до пяти лет ничем не засеивался. Он был запретным, так как нечистота мертвого передавалась злакам, — говорил мне старый крестьянин Машари-бобо около Ханки.

В других местах применяли разные способы очищения оскверненного места. В Шаббазе его пять раз заливали водой, в Гурлене с такого участка снимали тонкий слой почвы, в Шавате ждали, пока солнечные лучи в достаточной мере не очистят почву. Различны были способы ритуального очищения водоемов в аналогичных случаях: от вычерпывания из них определенного количества воды до крайних мер, когда такие хаузы и колодцы оставались полностью заброшен-

ными. Интересно, что сходные меры очищения мы находим в зороастрийском священном писании — в Авесте.

Концепция нечистоты мертвого в пережиточных формах пронизывает весь похоронный ритуал. Комнату, где умер человек, очищали дымом священной травы испанд; продукты, находившиеся в ней, считались запретными для употребления; в таком доме пищу не готовили в течение трех суток. Одежда и посуда, которой пользовался умирающий, изымались из бытового употребления; одеяло, в которое было завернуто мертвое тело, три ночи «очищали», положив его на крышу «под звезды».

Все, что соприкасалось с мертвым телом, считалось оскверненным. Особенно это относилось к ювуха — палкам и циновке, на которых омывали покойного. Их обычно выбрасывали туда, где «не ступает нога человека». Однажды я жил на полевом стане в одном из селений под Хивой; там же остановился отряд геологов. Вернувшись как-то на базу, я застал на полевом стане панику. Девушка-геолог бросила в очаг палки от ювуха, где-то найденные ею; местные женщины, работавшие в поле и в тот момент отдыхавшие в ожидании чая, затушили огонь в очаге, выгребли угли, разбросав их за домом, и отказались от кипяченой воды.

Я побывал как-то на огромном кладбище около Амбар-Монака, расположенном на средневековой крепости Вайенганкала. По всему кладбищу между могильными склепами были разбросаны пестрые подушки, которые здесь обычно кладут под голову умершего при переносе его к месту захоронения. Подушки считались оскверненными и были выброшены. Местные служители культа, видимо, рассудили иначе: комната в доме шейха, у которого я пил чай, была буквально забита такими подушками.

Поскольку в хорезмском похоронном ритуале обнаружилось немало элементов, восходящих к домусульманским культам, необходимо было более внимательно рассмотреть все то, что сохранилось от древнего зороастрийского погребального ритуала, то есть обратиться к археологии.

Мне приходилось работать вместе с археологами нашей экспедиции и видеть вещественные памятники зороастрийского погребального ритуала, которые сохранили в своих недрах пески Хорезма. Это своеобразный ритуал, не похожий ни на один из современных способов захоронения; только у бомбейских парсов в Индии сохранились некоторые его элементы. Стремясь предохранить землю от соприкосновения с мертвым, хорезмские зороастрийцы погребали кости умерших, предва-

рительно очищенные от мяса хищными птицами и животными, в небольших глиняных ящиках — оссуариях. Немало их извлекли на поверхность археологи Хорезма.

Так, в 1954 году вместе с археологами я делал шурфы в зороастрийском некрополе на возвышенности Кубатау около поселка Мангита. Здесь в культурном слое и намывах песка стояли оссуарии разной степени сохранности и горшки, также служившие костехранилищами.

Остатки другого, весьма своеобразного по месту расположения некрополя мне посчастливилось обнаружить во время горного маршрута, когда вместе с археологами я изучал памятники прошлого.

Мы побывали тогда на небольшой крепости Абумуслима у подножия Каратау, проникли в самое сердце гор Султануиздаг к роднику Зийнали, обследовали два маленьких мазара на высоком утесе и, совершив бросок на северо-восток вдоль хребта, выехали к той части гор Султануиздаг, которая открыта в сторону солончаковой степи, где находятся остатки городища и дворца Топрак-кала — многолетний объект раскопок Хорезмской экспедиции.

Мы слишком далеко углубились в степь и, чтобы попасть снова в горы, долго ехали по руслу высохшего протока — саю, ехали наобум, не будучи уверены, что эта «дорога» приведет куда нам требовалось; но она не подвела, и вскоре мы оказались в том месте, где горы вторгаются в степь скалистыми языками своих отрогов. Оставив машину в ущелье, мы разбрелись по ложбинкам и вершинам в поисках следов жизни человека. Следов жизни мы не обнаружили, зато следы смерти весьма убедительно дали о себе знать.

Все уже ушли обратно к машине. Я отстал, так как мое внимание привлек невысокий скалистый мысок. Поднявшись по склону на гребень, я стал продвигаться к его оконечности. На узком месте путь мне преградило птичье гнездышко — оно было размером с кухню в малогабаритной московской квартире и сооружено из толстых прутьев и сухой травы. Это было гнездо орла, сам хозяин отсутствовал.

Оба склона и сам гребень были усыпаны черепками керамики. Среди них я без труда узнал обломки оссуариев. Здесь в горах, господствующих над степью, зороастрийцы хранили останки своих умерших; кости истлели, но фрагменты керамики, не потревоженные человеком в течение ряда столетий, дожили до наших дней.

Их было много, нужна была помощь. В ущелье далеко вни-

зу я увидел «штатную» поэтессу экспедиции, в течение ряда лет выезжавшую на полевые работы с археологами.

Услышав мои крики и поняв, что мне надо, поэтесса принесла мне мешок и привела Стеблюка, без которого я бы не управился со своими богатствами. Явившиеся археологи собрали черепки — их набрался целый мешок, — и Стеблюк, как Атлант, унес некрополь на своих мощных плечах к стоянке машины. В Москве один из оссуариев удалось склеить почти полностью. Оссуарии в виде ящика с укрепленной на нем статуей очень эффектны. Из такого рода статуарных оссуариев нам особенно понравился изображенный в натуральный рост бравый мужчина с поджатыми ногами — его нашли среди барханов, собрали по кусочкам, — но он получил среди членов экспедиции совсем незаслуженную кличку «дурак». «Дурак» — чудесное произведение античного искусства, сейчас он красуется в Эрмитаже.

Фрагмент такого статуарного оссуария я откопал в 1953 году на античной крепости Калалы-гыр II. В мощном слое, оставшемся от пожарища, у входа в круглое здание я увидел белый алебастровый пальчик, стройный и изящный, — все, что осталось от статуи античной дамы. Он указал мне направление дальнейших поисков, но уже не на археологических, а на этнографических путях исследования.

Если археологи могут наглядно, так сказать «на ощупь», познать зороастрийский погребальный ритуал в его вещественных памятниках, то куда труднее отыскать его следы этнографу. Они скрыты позднейшими мусульманскими напластовками. И все же некоторые сугубо пережиточные элементы его обнаруживались постепенно и при моих поисках. Наземный способ захоронения, а также запреты и очистительные церемонии в обрядах, которые связаны со смертью и о которых уже говорилось, были только началом моих изысканий. Я не ожидал тогда, что дальнейшее накопление материала позволит мне подойти к открытию, куда более интересному, нежели наскальный некрополь «Орлиное гнездо». Ценность этого открытия заключалась в том, что объектом его были не глина и кости, а живые люди и их взаимоотношения с окружающим миром.

Среднеазиатский феодализм, господствовавший здесь добрые полторы тысячи лет, в Хорезме и Бухаре надолго оставил свои следы в хозяйственном укладе, общественной жизни и в быту населения; остатки их еще недавно давали о себе знать. Внимание исследователей привлекли, в частности, организационное оформление и внутренняя жизнь ряда профессиональ-

ных групп населения, особенно ремесленных цехов, с их замкнутой жизнью, иерархией руководства, писанными и неписанными уставами, ученичеством и посвящением в мастера; аналогичные или сходные черты отличали и прочие профессии.

Собирая и анализируя материалы о них, я обратил внимание на особое, изолированное положение среди этих корпоративных групп общины людей, профессионально выполняющих весьма важные для религиозных канонических обязанностей ритуального омовения умерших. Это так называемые улики ювучи, имевшиеся во многих городах и селениях Средней Азии.

Эпиграфом ко всему, что будет изложено, может послужить сообщение одного древнего любознательного путешественника, который посетил страну Босы (Персию) в период расцвета здесь зороастризма, официальной религии сасанидской династии правителей этой страны. Он сообщал между прочим: «Вне резиденции есть сословие людей, отдельно живущих. Они занимаются погребением умерших и считаются нечистыми. Если они идут на городской рынок, то дают о себе знать, потрясая бубенчиками»¹.

Это свидетельство оказалось весьма существенным по мере продолжения моих поисков; а слова становились рельефнее, обретали плоть и кровь, тонкой нитью связывали сегодняшний день с глубинами истории. Дискриминация и отчуждение от общества — таково основное положение зороастрийских служителей погребального культа, о которых некогда сообщал посланец с Дальнего Востока. Это невольно воскрешает в памяти те страшные страницы романов Вальтера Скотта о Старой Англии, на которых появляются «живые мертвецы» — прокаженные. Эти прокаженные обязаны были носить особую одежду и давать знать встречным о своем приближении, звеня колокольчиком.

Прошли столетия; ислам, воцарившийся на просторах Передней и Средней Азии, внес существенные коррективы в погребальный ритуал. И тем не менее именно в этой области культа следы зороастризма наиболее четки. Корпорация омыльщики мертвых, которая теперь оказалась в центре моих поисков, дает этому красноречивые подтверждения.

Конечно, положение этой корпорации в обществе в последние столетия истории Средней Азии невозможно полностью отождествлять с положением зороастрийских «служителей

¹ Н. Я. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. II. М.—Л., 1950, стр. 262.

мертвых», однако какие-то элементы ее дискриминации имелись еще в недавнем прошлом. Поэтому есть все основания рассматривать омывальщиков умерших в качестве преемников зороастрийских служителей погребального культа, правда взявших на себя только часть их ритуальных функций.

Подобная преемственность подтверждается тем, что только у этнических групп населения Средней Азии, которые своим происхождением ближе всего древнему, исконному населению этого края, мы находим занятие ритуальным омовением умерших как определенную профессию — по существу у немногочисленной группы людей. У огромного большинства же населения эти обязанности выполняются родными и близкими и никакого презрительного отношения они не вызывают.

О прошлом, а в каких-то деталях и о настоящем отношении к профессии омывальщиков мертвых дают представление те многочисленные беседы, которые по этому поводу мне пришлось вести в самых разных местах Хорезма.

Я был очень удивлен, когда ханкинские старики во время одной групповой беседы хором заявили мне, что профессия омывальщиков запретная, нечистая. При всей своей категоричности это заявление никак не вязалось с исламом, согласно которому омовение умерших — неперемнная и обязательная часть погребального ритуала. Около Кипчака старый крестьянин презрительно назвал омывальщиков «третьим сортом людей». Все собеседники утверждали, что браков с омывальщиками никто не заключал, на праздники к ним не ходили и вообще все без исключения избегают с ними общения. При этом особенное внимание обращалось на категорический отказ от совместного с ними приема пищи. В Хазараспе один очень умный и начитанный собеседник подтвердил это, сказав, что народ раньше вместе с омывальщиками никогда не ел пищу, хотя такой запрет нигде в мусульманских книгах не записан. Почти то же я услышал от одной старушки, уроженки Хивы: «С ними никто не общался. Вместе с ними никто не ел. Их боялись. Они тоже не приглашали на свои тои. Женились они только внутри своей группы. Омывальщики ни с кем не здоровались за руку». В Куня-Ургенче мне сказали, что на поминки третьего дня приглашали омывальщиков, но ставили им еду в отдельной посуде. Услышал я также в некоторых местах, что во время фидия — обычая передачи грехов умершего постороннему лицу — в качестве такого «козла отпущения» был омывальщик мертвых, который, следовательно, и нравственную нечистоту умершего брал на себя.

Того, что я узнал в разных местах Хорезма от самых раз-

личных людей, было достаточно, чтобы сделать предположение, что для мусульманского мира явление это было необычным, истоки его следовало искать в глубинах истории Средней Азии. И прежде всего надо было проверить и дополнить полученные сведения.

По установившейся у меня традиции я решил и на этот раз обратиться к мулле Садулле.

Я нашел старика в городском саду. Мулла сидел на скамейке и приглядывался к молодежи: окружающая жизнь его остро интересовала. Он слушал меня, опустив голову, по обыкновению чертя прутиком на песке какие-то каракульки.

— В старое время, — сказал он, — не только есть вместе с омывальщиками, но даже смотреть на них считалось предосудительным. Тот, кто встречался с омывальщиком на улице, должен был отвернуться и прочесть молитву или сразу перевести глаза в сторону солнца.

Солнце очищает от всякой скверны — таков был магический смысл этого действия. Сказанное муллой невольно воскрешало в памяти известные по литературе свидетельства о существовании в Индии в прошлом касты «неприближаемых», даже взгляд которых считался оскверняющим.

Все это еще больше обострило мой интерес к этой странной корпорации. Поиск следовало во что бы то ни стало довести до конца: я чувствовал, что стою на пороге интересного открытия.

В Ханки, в Куня-Ургенче и других местах я делал попытки завести близкое знакомство со здешними омывальщиками. Кое-что узнал, но, вероятно, постоянное общение со столь неразговорчивой клиентурой, которую они обслуживали, наложило особый отпечаток на характер омывальщиков — это был народ молчаливый и угрюмый. О своей профессии они говорили явно без всякого увлечения.

Надо было ехать в Хиву, в бывшую «столицу» омывальщиков, где в прошлом они жили целым кварталом. И мы направились в Хиву, полные поискового задора.

В Хиве я бывал не раз. Стало традицией, совершая маршрут по оазису, заезжать в бывшую столицу ханства хотя бы на один день. Пусть нет здесь таких древних памятников средневековой архитектуры, как в Самарканде и Бухаре, зато ни один город Средней Азии не сохранил в такой степени полноты ансамбля, общего колорита феодального восточного города. Этим Хива обязана прежде всего мощному кольцу высоких стен, отделяющих центр от предместья, а также неприкосновенности внутренней застройки с ее узкими кривыми улочка-

ми. За глухими стенами — крохотные дворики, наполовину закрытые навесом — айваном, небольшие дома; улочки, на которые выходят резные ворота и калитки, неожиданно выливаются на столь же миниатюрные площади, окаймленные фасадами купольных строений — мечетей, мавзолеев, медресе, порталы которых возносятся ввысь.

Над всем этим скоплением глинобитных и кирпичных строений возвышается минарет Ислам-Ходжа, голубеют купол Палан-ата и недостроенный минарет Мадамин-хана. По всему городу встречаются медресе — духовные училища со стройными арочными входами. Когда на расстоянии вспоминаешь Хиву, два цвета сливаются перед глазами — песчаный, желтоватый от всепроникающего солнца и цвета стен и сине-голубой разных оттенков, запечатленный в памяти и куполом неба, и изразцами живописных архитектурных памятников.

В дневные часы внутренняя часть города кажется безлюдной: все живое в полуденный зной прячется в глубине двориков; редкие прохожие бредут по своим важным и неважным делам, еле передвигая ноги, как при замедленной киносъемке. Только к вечеру, когда откуда-то сверху город накрывает прохлада, улочки оживают, люди сидят у открытых ворот, со дворов тянет дымком очагов, ребятишки заполняют всю проезжую часть улиц.

Предмestье, примыкающее к внутреннему кольцу стен, обширнее; по нему протекает канал, здесь много зелени, больше прохожих. В предмestье сосредоточены административные здания, магазины, клубы. Более старая часть предмestья постепенно становится районом современной застройки, хивинскими «Черемушками».

Предмestье живописно, удобно для жизни; но только Ичан-кала, внутренняя часть города, придает колорит Хиве.

Наша МУ, машина солидная, медленно, чуть дыша ползла по знаменитым улочкам города, где не могут разъехаться две арбы, ползла, чуть не касаясь стен и вспугивая ребятишек, пока, как паста из тюбика, не выдавливалась из этой тесноты на крохотную площадь. Здесь, на этом пятачке около стен ханского дворца Таш-хаули, мы «привязывали» МУ к одинокому дереву над колодцем и разбредались по городу. Разбивать свой походный бивак на ночь в Хиве негде, и мы по вечерам обычно уезжали в окрестные кишлаки к своим друзьям.

На этот раз, готовясь во что бы то ни стало пробраться в заповедный квартал омывальщиков, мы заняли ни много ни мало целый загородный дворец хана хивинского, расположенный вне стен города, но близко от него. Того, кто именовал

дворцом это унылое глинобитное сооружение, похожее на двухэтажную башню с верхним айваном, можно было бы обвинить в полном отсутствии воображения, если бы это не был действительно ханский дворец. Внутри было мрачно, тесно и захлавлено. Мы жили во дворе под деревьями около хауза — водоема. По вечерам мы вели «страшные» разговоры со сторожем. Надрывно кричала какая-то ночная птица. Сторож рассказывал об омывальщиках мертвых. В голубоватом сиянии луны мы и сами казались выходцами с того света.

На другой день по прибытии, в жаркий солнечный полдень, мы повели наступление на древнюю Хиву.

Чтобы как-нибудь не испугать моих будущих собеседников из этого странного квартала, я решил установить с ними контакт через третье лицо и для этого мобилизовать хивинские знакомства моего спутника Садреддина. Перебирая имена, мы остановились на его товарище по профессии — учителе, всю жизнь проведенном в этом городе и знавшем чуть ли не всех коренных хивинцев.

Отыскать его было нетрудно. Стоило остановиться на улице первого попавшегося паренька — и мы уже знали, где искать старого учителя. Через калитку с резной дверью мы попали на небольшой дворик, типичный для Хивы, с двумя разновысокими айванами, создающими столь необходимую в условиях здешнего климата циркуляцию воздуха. Айван, примыкавший к дому, опирался на резную деревянную колонну поразительной красоты по форме; она была установлена на мраморной плите, начиналась большим выточенным из дерева шаром с охватившими его четырьмя лепестками и, постепенно сужаясь, уходила в высоту, вся испещренная глубоким резным орнаментом. Сам домик был мал, но весь наполнен солнечным светом: большие окна были, пожалуй, единственной данью современным приемам строительства. В комнате было много книг, везде лежали ковры и подушки.

Под стать всей обстановке был и хозяин дома. Коренной хивинец, выходец из старой интеллигенции, он принадлежал к тому поколению учителей, на которое в 1920-х годах опиралась молодая тогда система народного образования. Человек уже очень пожилой, пенсионер; в отличие от жилистых и до черноты загоревших кишлачных стариков наш хозяин был белый, пухлый, с изящными манерами; вежливый, тактичный, он много и приятно улыбался. Истый хивинец, старый учитель проглатывал в словах конечное «р», что придавало речи его плавность и музыкальность. Все сказанное им было продумано и преподнесено на чистейшем литературном языке.

С изящной иронией он рассказал мне о жизни и быте хивинских дервишей. В стиле старых восточных поэтов прозвучала в его устах прелестная миниатюра — описание кзыл гуль — летнего праздника роз, справлявшегося в старину в центре Хивы около мазара Баварис-бобо, где девушки и молодые женщины устраивали праздничное шествие, а джигиты, стоя шпалерами по сторонам дороги, забрасывали розами своих любимых.

Но я ожидал от него детального рассказа о квартале омывальщиков мертвых. Кое-что он сообщил, однако это было повторением уже много раз ранее слышанного. И уже в том, как он рассказывал, чувствовалось то отчуждение, которое было характерно для жителей города в отношении служителей погребального культа.

Однако старый учитель сделал для меня доброе дело: он устроил мне встречу с аксакалом, старшиной корпорации «служителей мертвых».

На другой день мы с Садреддином вновь были в доме учителя. На этот раз нас ждали, дастархан был полон всяких яств, из внутренних покоев потягивало запахом плова. Мы еще не приступили к еде, когда пришел аксакал. Выглядел он молодо, хотя, как выяснилось, уже сорок лет занимался своей профессией. Одет был скромно и как-то подчеркнуто аккуратно и чисто. Держал себя с достоинством, но просто, говорил охотно, взвешивая каждое слово, на вопросы отвечал точно и четко. Он производил самое приятное впечатление.

Слушая аксакала, подтвердившего и суммировавшего все то, что я слышал раньше, я все более отчетливо представлял себе прошлое общины омывальщиков мертвых. Профессия передавалась от отца к сыну, от матери к дочери; вырваться из этого заколдованного круга было невозможно, браки заключались только среди людей однородной профессии. Все было регламентировано особым писаным уставом — рисоля. Хивинские омывальщики жили отдельным кварталом, напоминавшим гетто. У них была своя мечеть, в которую не ходили другие горожане, свои колодцы, водой которых не пользовались посторонние. Некоторые омывальщики имели пригородные участки земли, но, чтобы продавать овощи или фрукты, им приходилось ездить на дальние базары, где их никто не знал, — иначе они не нашли бы покупателей. Омывальщиков не приглашали на тои. Хивинцы старались стороной обходить этот квартал отверженных. Омывальщики в Хорезме имели и внешние отличия: они обязаны были носить чугурма — меховые

шапки белого цвета и кольцо на среднем пальце, чтобы окружающие сразу могли их узнать.

Не торопясь, ровным голосом рассказывал аксакал о прошлом людей своей скорбной профессии, и мы, его слушатели, как бы переносились на сотню лет в глубь истории этого края.

Мы шли по улицам Хивы, пробираясь в пестрой базарной толпе, оглушенные скрипом арб, ревом мерно вышагивающих верблюдов, груженных товарами, воплями понукаемых ишаков. В маленьких лавчонках восседали щеголеватые хивинские торговцы; полукочевники из далекого Кунграта разгружали караван с тюками шерсти и кошмами; сухощавые туркмены в косматых шапках, прибывшие из песков Каракумы, приценивались к зерну и тканям; в толпе пестрели своими халатами купцы из Бухары и Самарканда; кричали разносчики, переговаривались знакомые, заунывно пели дервиши. Базар гудел.

Из тесноты крытых базарных улиц мы вышли к мавзолею Палван-ата. Он навис над улицей своим небесно-голубым куполом. Группы паломников толпились у ворот усыпальницы. Миновав мавзолей, мы попали в квартал, который после всего виденного и услышанного поражал тишиной и безлюдьем. Тяжелые ворота не были здесь гостеприимно распахнуты; редкие прохожие спешили миновать эти улицы. Квартал «служителей мертвых» жил своей особой, замкнутой жизнью. Эта замкнутость поразительно сочеталась с тем, что без обитателей квартала не могла обойтись ни одна хивинская семья; рано или поздно кто-нибудь стучался в дома омывальщиков, и они шли выполнять свои суровые обязанности, были на людях, но всегда как бы высокая стена стояла между ними и окружающими.

Аксакал продолжал свой рассказ. Ханская администрация не взимала с омывальщиков никаких налогов; однако на свои доходы они должны были содержать ханского корнайчи — глашатая, возвещавшего волю повелителя и сопровождавшего это заунывным пением карная — длинной тонкой трубы. Омывальщики отчисляли в его пользу часть заработка, он был постоянным гостем квартала, участником их тоев.

Еще одна мрачная обязанность возлагалась ханами на «служителей мертвых». Они должны были в течение трех суток, день и ночь, охранять мертвые тела тех, кто был подвергнут публичной казни через повешение, чтобы родные не могли похитить труп казненного.

И снова мы, слушатели, переносились в ханскую Хиву, но на этот раз сонную, ночную, притихшую под куполом неба. Перед нами чернела громада Куны-Арка — старого дворца.

Пустынная площадь около его закрытых ворот была вся залита лунным светом; где-то в глубине ее мелькали тени голодных собак. Против луны четким контуром проступали очертания виселицы; ночной ветерок чуть колебал тело казненного, и шевелилась длинная тень его на булыжной мостовой. Поодаль краснело пламя небольшого костра. Трое омывальщиков, сторбившись, молча смотрели на огонь. Застыла тишина, только где-то далеко за пределами стен города жалобными детскими голосами выли шакалы да потрескивал саксаул в костре «служителей мертвых».

Аксакал закончил свой рассказ, а я так и не решился спросить, осталось ли что-нибудь от запрета совместной еды с омывальщиками умерших; такой вопрос казался мне слишком уж оскорбительным для самолюбия человека. Но аксакал сам ответил мне на этот невысказанный вопрос.

Наш добрый хозяин крикнул что-то в сторону внутренних покоев, и шумно и торжественно на большом блюде с голубой поливой внесли дымящийся плов. Мы взяли за ложки. Хозяин резал на мелкие куски мясо и скатывал их к подножию аппетитного холма. Мы приготовились к атаке плова.

Бесстрастным оставался один аксакал. Он тихонько попросил мальчика принести ему чайник и пиалу. Он отказался от плова, пробормотав какие-то невнятные объяснения, и я понял его: жила еще гнусная традиция.

Аксакал задал мне загадку, которую я так и не решил. Он назвал имя пира, покровителя омывальщиков. Это было известное имя; непонятно, что связало его с омывальщиками.

Надо сказать, что каждое ремесло, более того, каждая профессия в Средней Азии имели своего пира — покровителя. Его имя заносилось в ремесленный устав, в честь его проводились ритуальные сборища. В качестве покровителей выступали самые различные персонажи — святые, заимствованные исламом из Библии, сподвижники пророка Мухаммеда, а также самые невероятные, фантастические герои. Так Нух, то есть знаменитый Ной, несомненно в связи с сооружением ковчега — корабля, на котором праотец носился по волнам во время всемирного потопа, в Средней Азии сделался покровителем деревообделочников и судоводителей. Муса — хитроумный Моисей, когда-то выводивший свой народ из плена египетского, превратился в патрона овцеводов. Деятель периода раннего ислама Салман Парс стал пиром парикмахеров.

Но почему, в результате каких ассоциаций четвертый халиф мусульманского мира, Али, зять пророка, сделался покровителем омывальщиков мертвых, до сих пор осталось мне не-

ясным. Казалось бы, что может быть общего у Али, этого странствующего рыцаря среднеазиатских легенд, покровителя воинов, со столь унылой и мрачной профессией? Но, однако, это так.

В Хорезме следы культа Али, как и в других местах Средней Азии, весьма многочисленны. На Амударье я видел то место, где, согласно легендам, Али перемахнул на другой берег на своем коне Дуль-Дуле. Южнее Тахты, около мавзолея Исмамут-ата, я отдыхал в тени того дерева, к которому якобы Али привязывал своего коня.

Поскольку я увлекался корпорацией «служителей мертвых», мне следовало совершить паломничество к гробнице Али. Это нетрудно было сделать. Мавзолей его, один из семи известных в Средней Азии, расположен недалеко от Хивы. Шахи-Мардон — «царь воинов», так именуют его здесь.

Мы выехали через городские ворота Хивы уже под вечер. В кишлаках, которые здесь вплотную подходили к городу, народ уже возвращался с полей. Жара спала. Потянуло дымком — это женщины затопили очаги, готовя ужин. Ребятишки толпами высыпали на шоссе.

К мавзолею прибыли перед закатом. Когда-то это было небольшое, но respectable кладбище, где хоронили членов ханской фамилии и хивинскую знать. Оно было компактным и четко спланированным; в отличие от многих других кладбищ здесь раньше было немало культовых сооружений — мечетей и кори-хона — общежитий для чтецов Корана. Кори-хона строили знатные люди по обету, на средства завещателя кормились чтецы Корана и нищие.

Теперь Шахи-Мардон представлял собой весьма живописные развалины. Канули в вечность сановные завещатели; строения, и без того воздвигавшиеся на скорую руку, пришли в полную ветхость. Там среди груды кирпича и строительного мусора одиноко торчит угловая башенка, а здесь уцелела часть стены с остатками внешнего декора — глазурованных кирпичей с сине-голубой поливой. Местами чувствовалась планировка двора кори-хона с двумя-тремя развалившимися худжрами — кельями общежития. Портальные арки казались повисшими в воздухе.

Контуры развалин уже графически четко вырисовывались на фоне заката, когда одинокий шейх, который чудом уцелел среди развалин и которого я усадил около высохшего бассейна, наконец стал более разговорчив. Шейхи, хранители всяких усыпальниц, — это совсем особая категория собеседников. Они привыкли к общению с людьми, но общение это крайне одно-

боко; все у них сводится к одному: что можно из этого выгадать? Они берегут каждое слово, чтобы подороже его продать. Я никогда не одаривал своих собеседников, даже шейхов. Но они обычно заговаривали и были часто весьма откровенны.

Шахи-мардонский шейх повторил многое, что мне уже было известно об омывальщиках, показал тот участок кладбища, где они обычно хоронили своих умерших, в стороне от других, и повел меня к мавзолею Али, патрона этой корпорации, к порогу усыпальницы которого омывальщики ежегодно совершали паломничество.

В великий гнев пришел бы Али, знаменитый халиф, именем которого некогда совершались династические перевороты и возникали сектантские течения, бушевавшие на просторах от Северной Африки до Памира, если бы мог только подозревать, что когда-нибудь старый шейх будет в качестве его благословенной усыпальницы демонстрировать кирпичное надгробие с облупившейся обмазкой. Но что поделаешь?! Если в христианском мире отрубленные головы Иоанна Крестителя исчислялись двузначной цифрой, то почему не могло быть семи могил Али, Султан Ваиса и других мусульманских святых, популярность которых в прошлом с такой поразительной легкостью превращалась в материальные блага?

Эрзац-усыпальница Али оказалась небольшим купольным мавзолеем; недавно, видимо, его побелили, кругом чисто подметено. Справа от входа красовался целый пучок знамен с разноцветными полотнищами. Халифа, который, кстати, никогда не бывал в Средней Азии, очевидно, не забывали.

Совсем стемнело. Мое «паломничество» к покровителю «служителей мертвых» подошло к концу. Но шейх никак не желал расстаться со мной и усиленно зазывал к себе пить чай. Он не раз уже заговаривал о космосе, спутниках, полетах; очевидно, назревала длинная и умная беседа о делах небесных. Но надо было возвращаться: с дороги несколько раз уже взывала застоявшаяся МУ.

Мое знакомство с жизнью и бытом «служителей мертвых» на этом не заканчивалось. Материал продолжал поступать, и он не противоречил, а все более подтверждал основной вывод, который у меня складывался об этой замкнутой корпорации.

Мне было ясно, что мы натолкнулись на исключительно интересное явление — социальную группу, возникновение которой своими корнями восходит к сословно-кастовому устройству древнего общества на территории Средней Азии. Наследственность профессии, бытовая замкнутость, браки внутри группы,

изоляция от остального населения, вплоть до традиционных запретов совместного приема пищи, — таковы характерные признаки этой своеобразной «касты», точнее, ее отдаленного во времени реликта.

С зороастризмом ее генетически связывает причина подобной дискриминации — древняя концепция нечистоты, оскверняющий характер тех, кто соприкасался с мертвым, — в данном случае профессиональных омывальщиков. Именно это роднит их со «служителями мертвых» сасанидской Персии, о которых мы говорили выше.

Дальнейшие мои поиски показали, что были и другие профессии, считавшиеся «низкими», «отверженными». Таковыми считались кроме омывальщиков судоводители, парикмахеры и массажисты бань, мусорщики, мясники и некоторые другие профессиональные группы, объединявшиеся в Хорезме термином «бам». Мотивы причисления этих профессий к «низким» ведут нас опять-таки к зороастрийской традиции. Так, судоводители, долгое время находясь в плавании, невольно вынуждены были осквернять священную стихию — воду; парикмахеры имели постоянное соприкосновение с тем, что было отторгнуто от живого организма (например, остриженные волосы) и считалось мертвым; мясники губили живые существа и т. д. Все эти профессии в той или иной степени вступали в противоречия с догмами древней религии и потому считались греховными.

Быть может, такая дискриминация, прослеживавшаяся в отношении ряда профессий и во времена ханства считавшаяся обычным явлением, еще долгое время продолжала бы существовать, если бы не те коренные изменения, которые произвела Октябрьская революция в общественных отношениях и в быту феодального Хивинского ханства.

Число лиц, занимающихся сейчас профессией омывальщиков, резко сократилось. Если еще сравнительно недавно в Хиве, по словам аксакала, было около двадцати семейств, в которых и мужчины, и женщины, и молодежь, проходившая обучение, занимались обслуживанием погребального ритуала, то к началу пятидесятих годов во всем городе осталось пять мужчин и пять женщин — омывальщиков мертвых. Все они люди пожилые; молодежь — их дети и внуки — уже стоит вне этой замкнутой корпорации. Основную роль здесь сыграла школа и специальное образование. Среди молодых людей этого квартала теперь имеются рабочие заводов местной промышленности, бухгалтеры, медработники, педагоги. Их современ-

ные профессиональные интересы ввели их в совершенно иную среду, сблизили с окружающим населением; мрачная профессия их предков уже давно не довлеет над их жизнью и бытом.

Если в прошлом хивинские омывальщики заключали браки исключительно внутри своей группы или с населением кишлака Яван, расположенного недалеко от Хивы, где также жили омывальщики, то сейчас эта традиция полностью нарушена. Браки с окружающим населением, людьми самых разных профессий, давно перестали быть исключением.

Стена, некогда воздвигнутая древней традицией между «служителями мертвых» и другими жителями Хивы, разрушена, и только единичные факты некоторого предубеждения, весьма уже далекие от былой дискриминации, напоминают о тягостном прошлом этой группы людей. Надо полагать, что профессия омывальщиков в скором времени отомрет. Обычай, согласно которому ритуал омовения производят родные и близкие, на всей территории оазиса и раньше преобладавший, теперь распространяется на все большие круги населения.

Года через два мы опять въезжали в Хиву, на этот раз обуваемые уже новыми замыслами. Однако случайная встреча вновь напомнила мне о «служителях мертвых».

По старому хивинскому предместью мы ехали улицей, тянувшейся вдоль главного арка. За домами громоздились стены внутренней крепости. Жара уже спала. Множество народа спешило в том же направлении, куда ехали мы. Женщины шли группами, принаряженные, неся с собой завернутые дастарханы — верный признак того, что где-то происходит той. На улице становилось все болеелюдно. Наша машина еле пробиралась в толпе, запрудившей улицу, и наконец остановилась.

Здесь перед большим новым домом, выдержанным, однако, в традиционном стиле, с широкими воротами и имитацией угловых башенок, народ стоял сплошной стеной. Свободными оставались лишь центр улицы и широкий проход в толпе, ведущий к раскрытым воротам. Женщины и девушки сидели и стояли на крышах соседних домов; с деревьев свисали грозди ребятишек. Все вокруг гудело и волновалось. У ворот играл небольшой оркестр местных инструментов.

Это была свадьба. Новая свадьба, сохранившая, однако, многие элементы старинного ритуала. Мы протиснулись поближе к воротам. Я заглянул во двор. Он был уставлен столами, приготовленными для угощения; у очагов с кара-казанами — громадными общественными котлами — хлопотали старики. Вкусно пахло пловом.

Все ожидали кульминационного момента — прибытия невесты в дом жениха. В толпе, конечно, обсуждались достоинства молодых. Жених, Акбар, принадлежит к старинной семье коренных хивинцев (асли хивали). Его дед был знаменитым на весь Хорезм чеканщиком по меди. Сейчас в их семье есть педагоги, врач и офицер военно-морского флота. Сам Акбар — сварщик, у него золотые руки. Невеста? Она хорошая девушка, работает медицинской сестрой. Говоривший немного замаялся.

— Она из рода омывальщиков мертвых! — выкрикнула, высунувшись из толпы, маленькая серая старушонка.

Кругом замолчали.

— Что же такого? — задумчиво заметил высокий грузный старик, стоявший рядом со мной. — Ее предки сделали немало доброго для людей, они провожали в последний путь наших отцов и дедов.

Толпа заволновалась: приближался свадебный поезд. Первыми с оглушительным ревом к дому вылетели мотоциклисты, дружки жениха. По старинному ритуалу свадьбы они должны гарцевать на конях, охраняя свадебное шествие. Вдали показалась «Волга», медленно плывущая между людских волн. Старухи кинулись с саксаулом и керосином на середину улицы, запалил небольшой костер. «Волга» заурчала, дернулась и переехала через огонь — старый обычай очищения был соблюден. Шафера в черных костюмах бросились к остановившейся машине. Вышедший жених подал руку девушке. Белые атласные туфельки твердо и уверенно ступили на овчинную шубу, по обычаю брошенную под ноги невесте. На минуту девушка остановилась. Она была прекрасна. В белом шелковом платье, с огромным букетом роз, рослая и сильная, резко выделялась она на фоне черных костюмов, окруживших ее друзей. Концы ее шарфа чуть развевались на ветру, и она походила на большую белую птицу, опустившуюся среди темных скал. Девушка с легкой улыбкой оглядела присутствующих.

— Посмотрите-ка, люди, как она себя держит, эта дочь омывальщика мертвых, — пискнула та же серая старушка.

На нее цыкнули, и злобная бабка прикусила язык.

Еще громче заиграли музыканты. Взвыл карнай. Молодые двинулись к воротам, осыпаемые сладостями и сухими фруктами. Акбар не отрывал глаз от своей супруги. Откинув с лица фату, с гордо поднятой головой дочь «служителя мертвых» вошла в новый дом.



Вообще говоря, я не люблю неожиданностей. Они, любые, на какое-то время выводят из состояния повседневного равновесия. Лучше, когда можно все заранее предугадать. Но в нашей практике, в процессе этнографического сбора материала, судьба иногда преподносит столь неожиданные и ценные подарки, что нет времени удивляться и переживать: надо как можно скорее воспользоваться ими, не упустить их, спрятать в сокровищницу особо значительных приобретений.

Такие маленькие, а иногда и весьма существенные открытия мы, этнографы, именуем жемчужинами. В массе привычного, нередко однообразного материала, поступающего со всех сторон, такие «жемчужины» сверкают перед вами своим изумительным блеском, цельные, ясные, не поврежденные временем.

Одну из таких «жемчужин» нам привелось открыть на правом берегу Амударьи вблизи развалин Кята, древней столицы Хорезма. Народная память пронесла ее сквозь десятилетия и заботливо вручила нам.

Это случилось вскоре после того, как страна наша отпраздновала тысячелетний юбилей со дня рождения (по лунному календарю) великого средневекового ученого-энциклопедиста, блестящего географа, астронома и геолога, историка, философа и поэта Абу Рейхана Мухаммеда ибн-Ахмада аль-Бируни, который, согласно одной из научных версий, был уроженец столицы Хорезма — Кята, точнее, предместья этого города.

Друзья из Каракалпакии, на территории которой сохранились остатки этого города, сообщили руководству нашей Хорезмской экспедиции о том, что в Шаббазе (ныне — город Бируни), поселке, расположенном около этих развалин, среди населения до сих пор бытуют легенды и предания об их ученом соотечественнике. Нашему отряду, как всегда выезжавшему той весной в Хорезм, было поручено проверить это сообщение.

Нам пришлось немного изменить программу работ на этот полевой сезон и начать с Шаббаза. Местом сбора на этот раз

стал Ургенч, центр Хорезмской области, откуда быстрее всего можно попасть на правый берег, использовав Шаббазскую паромную переправу.

Члены отряда были точны, сборы недолги, и вскоре наша заслуженная машина, как всегда сытая и ухоженная, отмеряла те немногие километры, которые отделяют Ургенч от реки.

Было время одного из четырех ежегодных половодий, и Аму показалась мне слишком уж вздувшейся и взбудораженной; огромная масса воды, желтой от ила, стремительно неслась, бурля водоворотами. Однако погрузка и сама переправа прошли спокойно. Только достигнув противоположного берега, мы увидели, что река, верная своему отвратительному характеру, и на этот раз приготовила нам сюрприз.

Вся низина за береговым валом, заросшая тугайным лесом, через который пролегали пути на Шаббаз, была затоплена рекой. Десятки машин, скопившиеся на берегу, отчаянно гудели. Наиболее отважные из них кидались в воду. Мы же решили перехитрить Аму — по береговому валу подняться вверх по течению.

Через какие-нибудь двести метров, глянув на землю, мы замерли: она колыхалась под нами, как огромный темный студень; казалось, она дышала.

Мы хорошо знали, чем это угрожает. В прошлый сезон младший братишка нашей МУ — ГАЗ-69, а попросту «козел» (нет, нет, не под водительством Ивана Петровича!) умудрился наполовину погрузиться в грязь около канала Газават. Его вытащили краном, и он, грязный, жалкий и насупившийся, целый день отмывался и приходил в чувство.

Наша гордая машина не перенесла бы такого позора, поэтому маневр был осуществлен моментально и блестяще. Нам, сидевшим в кузове под тентом, показалось, что МУ взвилась на дыбы, заржала и, сделав изящный пируэт, ринулась назад.

Пришлось въехать в залитый водой лес, на старые, более надежные дороги, где в разных местах уже плескались в воде и, захлебываясь, сердито урчали машины. Здесь одурманивала цветущая джида, было душно, и, забыв о времени суток, неистово кричали басовитыми, хриплыми голосами приамударьинские соловьи и злобствовали мириады комаров.

МУ по радиатор в воде шла на север. Она не только успешно преодолела водный барьер, но и на ходу совершила благое дело — вытащила на тротуар захлебнувшийся грузовик, в кузове которого, укрытая зелеными ветками, совершала последний путь в Турткуль некая покойница: ее, по старому обычаю, перевозили туда, где захоронены ее предки.

Выбравшись из леса и быстро проскочив хлопковые поля, мы прибыли в Шаббаз.

Шаббаз, расположенный на магистрали Нукус — Турткуль, в те годы небольшой районный центр, я проезжал множество раз, никогда в нем подолгу не задерживаясь. Тогда он был примечателен лишь развалинами древнего Кята. Однако плохо сохранившиеся остатки стен, торчащие на просоленной болотистой низинке, мало привлекательны, особенно после того, как сначала увидишь великолепные крепости и городища, расположенные в пустынях.

Я уже не помню, откуда появился Ильяс-максум, длинный, тощий и веселый старик, во двор к которому въехала наша машина. Наверное, все произошло случайно, как это часто бывает у этнографов: остановилась машина, кто-то подошел, разговаривались, познакомились — и вот у нас есть уже крыша над головой.

Так или иначе, мы обосновались на айване у Ильяс-максума. МУ могла теперь часами дремать в тени карагача. В доме Ильяс-максума было полно женщин и детей; все они надолго облепили Гульнур-апа, она схватилась за карандаш — работа началась. Ведь помимо Абу Рейхана Бируни нас интересовали тысячи вещей по нашей теме — верованиям и обрядам.

Работа началась и у меня. Мне было известно, что легенды о Бируни хранятся в памяти некоего Таджибая-ака, коренного жителя Шаббаза. Найти его дом не составило труда. И тут выяснилось, что Таджибай-ака уже давно работает где-то в Нукусе, столице Каракалпакии. Бывает ли он в Шаббазе? Да, но очень редко. Оставалось проверить данные через других лиц и готовиться в дальнейший путь. Я решил начать с нашего хозяина. Ильяс-максум был разговорчив и рассказал много полезного. Однажды я попал с ним в мечеть. После того как старики закончили свои несложные молитвенные манипуляции, мы, солидно поглаживая бороды, потолковали о пророке Мухаммеде, о его злоключениях в дни молодости; старики разахались и посадили меня на почетное место пить чай.

Пророк не раз выручал меня в подобных ситуациях. Он и на этот раз послужил трамплином для начала интересной беседы. Старики разговорились о прошлом своего города.

Оказалось, что, хотя в течение ряда столетий город назывался именем местного святого шейха Аббаз-вали, древнее его название — Кят — жило в народе до сих пор. Сохранились и предания о его катастрофической гибели, когда Амударья снесла его до основания и населению пришлось спасаться, в

частности, на левый берег, где был основан новый Кят, крепостные стены которого до сих пор уцелели вблизи Шавата.

Старики повели меня на развалины столицы, показали место, где находились когда-то главная мечеть и сохранившиеся мраморные основания ее колонн.

Теперь всюду перед нами на городище бурлила новая жизнь. Шаббазу стало тесно, и он вышел за свои старые пределы. Люди рыли отводные каналы, осушая землю, возводили фундаменты и глинобитные стены домов. В отвалах поблескивали черепки поливной керамики начала нынешнего тысячелетия. В одном доме мы пили воду из громадного, в половину человеческого роста, хума — глиняного сосуда, откопанного хозяином здесь же, на городище. Нас сопровождала стайка ребятишек; на их тибетейках поблескивали золотые монеты хорезмшахского времени.

Особенно оживились старики на том месте, где некогда возвышался знаменитый кятский минарет, о котором упоминают путешественники XIX века. И я опять услышал поэтическое сказание о хорезмском Икаре, строителе этого минарета.

Когда молодой зодчий закончил свое творение, минарет возвышался как стрела, устремленная в небо. «Сможешь ли ты создать еще такой же минарет?» — спросил царь. «Хоть сто!» — с гордостью ответил мастер. «Не будет больше нигде такого минарета», — подумал царь и тем решил судьбу юноши. Он должен был умереть. Вечером тайный друг шепнул об этом мастеру. «Царь! — сказал на утро мастер. — Посмотри на минарет. Видишь ты голубой узор, окаймляющий его вершину? Цвет его бледнеет перед синевой неба, и я не брошу работу, пока и небо не покорится мне». Он поднялся на минарет и два дня не спускался вниз. На третий день собравшаяся внизу толпа затаила дыхание, а потом ахнула: показавшись на краю минарета, мастер раскинул сооруженные им мощные крылья, взмыл в небо и скрылся за горизонтом. С тех пор и прозвали его Усто Куш — «мастер-птица». Говорят, что это он построил минарет Чунтук в Куна-Ургенче, позднее разрушенный Чингисом.

Постепенно я подошел в беседе к вопросу об Абу Рейхане Бируни. Да, моим собеседникам было знакомо имя великого ученого, но... и только. Почему так произошло? Отчасти это можно объяснить тем, что мои собеседники, как и Ильяс-максум, в большинстве своем оказались выходцами из кишлаков, где они родились и росли, а в Шаббаз перебрались уже в тридцатых годах.

Надо сказать, что имя Бируни помнят в разных местах Хо-

резмского оазиса. Так, в окрестностях Шавата старый мулла Адамбай, человек весьма эрудированный, рассказал мне о любопытном случае. В начале тридцатых годов он видел рукопись «Достоинства земли», автором которой, по его словам, был Абу Рейхан Бируни; позднее рукопись эта погибла. Трудно сказать, принадлежала ли и она к тем произведениям великого хорезмийца, которые так и остались не обнаруженными, в том числе и его «История Хорезма».

Экскурсии и беседы с шаббазскими стариками были полезны, но и они исчерпали мои интересы. Время шло. Тайнственный Таджикибай не появлялся. Тогда я решил отправиться на поиски Таджикибай-ака. Сначала болтанка над Амударьей на игрушечном самолете, затем гонка на «Победе» к новой переправе через Амударью, и наконец я в небольшом поселке Тахиаташ.

Таджибай-ака был в годах, но моложав; он шеф-повар в местной столовой. С первых минут выяснилось, что он не очень полагается на свою память, но в Шаббазе у него сохранились кое-какие записи. Я посмотрел на часы: до конца переправы было полчаса. Решение возникло моментально. На «Победе» я увез повара и после ночевки в Нукусе на том же самолете доставил его в Шаббаз.

На другое же утро он пришел к нам, отдохнув в родном доме, и мы с Гульнур-апа, заточив карандаши, приготовились к основательной беседе. Таджикибай захватил свои старые записи — слежавшиеся от времени пожелтевшие листы, заполненные мелкой арабской вязью; потом он не раз в них заглядывал.

Начал он рассказ со своего детства.

— Моя мать говорила, что я родился в тот год, когда рухнул наш старый минарет, — сказал он.

И я тут же прикинул: ему было уже далеко за пятьдесят. Отца он не помнил. Воспитывала его мать, человек, по-своему весьма интересный: она была табибом — знахаркой, лекаркой, довольно популярной в городе. Лечила она главным образом вывихи и переломы конечностей, глазные болезни, хорошо знала местные лекарственные травы. Ее уважали городские жители, но власть имущие, прежде всего духовенство, относились к ней с презрительной враждебностью.

Время нас подгоняло, и, затаив дыхание, мы спросили о Бируни.

Да, конечно, кто же не знает знаменитого хорезмийца?! Но здесь, в Шаббазе, на его родине, предание донесло его имя несколько искаженным — Аль-Бурун.

Таджибай рассказал нам давным-давно слышанную им здесь, в Шаббазе, легенду, связанную с именем Бируни — Аль-Буруна. Она несколько наивна и очень фрагментарна. Полной неожиданностью для нас оказалось, что в легенде кроме Абу Рейхана Бируни говорится еще об одном знаменитом хорезмийском ученом — Мухаммеде ибн-Муса аль-Хоразми, который хорошо известен в мировой науке как крупнейший математик конца I тысячелетия нашей эры. Волей народной фантазии, создавшей легенду, оба ученых действуют в ней одновременно, хотя на самом деле время жизни их разделялось чуть ли не столетием (Мухаммед аль-Хоразми умер во второй половине IX века).

Сюжет легенды прост и строится вокруг широко распространенного у некоторых групп населения молодежного развлечения — игры в загадки, которая, как мы выяснили, в Шаббазе была популярна до самого последнего времени. Это придает легенде особый, местный колорит.

Как гласит легенда, Аль-Бируни и Ибн-Муса, находясь в Багдаде, где они заканчивали курс наук, узнали, что на их родине прославились две девушки — сестры Кюлли-киз и Гюлли-киз, которых молва за их ум, знания и находчивость прозвала «кятскими огнями». Стремясь оттянуть решение родителей выдать их против воли замуж, сестры предъявили ультиматум, что их избранниками будут только те, кто сумеет решить их загадки. Ибн-Муса первый, а вслед за ним Аль-Бурун являются в Кят, решают загадки и женятся на сестрах. Таково несложное содержание легенды.

К сожалению, наш собеседник не смог четко сформулировать вопросы девушек и ответы ученых, однако по тому, что сохранилось в его памяти, совершенно очевиден их явно математический характер (упоминаются некоторые геометрические термины, например «гипатан ос», то есть гипотенуза). Говорится также, что Аль-Бурун решил свои загадки при помощи аль-джабра, то есть алгебраическим путем. В эпилоге легенды сообщается, что ученые и их жены применили свои математические познания для расчетов ирригационной сети. Все это соответствует тому, что известно об этих великих математиках и астрономах, а в целом самому духу той славной эпохи, когда жили и творили Мухаммед ибн-Муса, Абу Рейхан Бируни, Абу Али ибн-Сина и другие великие умы Средней Азии, завоевавшие мировое признание и славу.

В легенде меня заинтересовало имя одной из девушек. Всего за два дня до того шаббазские старики показали мне на городище одиночную могилу, а точнее, небольшой круглый холм,

где, по их словам, покоится прах некой Кюлли-момо, жития которой они не знали. Проходившая по городищу старуха, заметив, что я сижу около холма и явно проявляю к нему какой-то интерес, заговорила со мной и, в частности, сообщила, что Кюлли-момо является некоторым людям во сне в образе прекрасной молодой всадницы и что около холма, ей посвященного, хоронили исключительно молодежь до двадцатилетнего возраста. Все это навело на мысль, что между прекрасной всадницей с городища Кята и легендарной ученой девушкой имеется какая-то связь.

Успех в работе этнографа зависит иногда от того, какой оборот примет разговор с собеседником, от какого-нибудь на первый взгляд мало существенного вопроса, заданного ему. Возможно, если бы в связи с рассказанной легендой я не задал Таджикибу вопроса о том, когда и при каких обстоятельствах он впервые услышал о Вируни, я не узнал бы самого интересного и ценного, от меня ускользнула бы одна из «жемчужин» народной памяти. Но я задал ему такой вопрос, и вот что Таджикиб рассказал.

В дни его детства и отрочества, следовательно, примерно в 1910—1915 годах, в городе Шаббазе существовала небольшая группа людей, крайне своеобразных и интересных. Эти люди своими убеждениями и поступками резко противопоставили себя верхушке тогдашней городской общины, прежде всего мусульманскому духовенству. Их было совсем немного, но это был сплоченный коллектив. Парадоксальное явление: в годы религиозного безвременья, когда ислам пронизывал все поры быта, когда рядом довлела над умами людей феодально-ортодоксальная Хива, столица ханства, эти вольнодумцы имели смелость открыто демонстрировать свою ненависть и презрение не только к духовенству (антиклерикализм всегда жил в народе), но и к самой религии и к завоевателям, тысячу с лишним лет назад принесящим ислам в Среднюю Азию на остриях своих копий. Они воспевали Кят, столицу древнего Хорезма, ставший для них символом свободы мысли и подлинных научных знаний. Все эти люди принадлежали к самым низам городской общины, были на положении отверженных, к ним с презрением относились власть имущие.

Хотя прошло более сорока лет, образы некоторых представителей этой группы рельефно и ярко сохранились в памяти Таджикиба. Особенно хорошо он помнил двоих из них — Мулло Алиёра и Абдукарима Сари, наиболее колоритные фигуры среди шаббазских «еретиков».

Мулло Алиёр некогда учился в медресе Бухары и Хивы,

но его отовсюду изгоняли за вольные мысли. Он нашел прибежище в Шаббазе. Наш собеседник знал его уже инвалидом: у него были поражены ноги, и он передвигался на коленях. Таджикиб вспоминал высказывания Мулло Алиёра по вопросам нравственности; тот говорил, в частности, что красть можно только ум и знания других людей. Когда речь заходила о шайтане, он разъяснял, что под этим термином следует аллегорически понимать духовенство с его алчностью, лицемерием и невежеством.

Выгнан был за свободомыслие из хивинского медресе и уроженец Ургенча Абдукарим Сари, которому пришлось бежать от преследований духовенства на правый берег Амударьи. В Шаббазе он занимался тем, что весной зарывал на городище лед, а летом продавал его на базаре. Он был еще более неистовым фанатиком вольнодумия, нежели сдержанный и угрюмый Мулло Алиёр. Некоторые поступки Абдукарима Сари выглядят весьма эксцентрично, но по существу в них был глубокий смысл. Так, в дни религиозных праздников в местах скопления людей он появлялся с наброшенной на плечи шкурой и укрепленными на голове рогами дикого козла. В таком наряде, привлекавшем всеобщее внимание, он нараспев читал свои критические газали (стихи). Вступление было весьма эффектным:

С пастью и носом дьявола,
Соединив в себе пять мулл,
Я одариваю вас божеским именем.

Далее следовал набор нарочито бессмысленных слов — пародия на чтение текстов Корана. Заканчивал Абдукарим обращением к толпе, полным безнадежности: «Так и умрете, будучи дураками». И бросал презрительно окружающим: «А вы муллам за арабское бормотание деньги давайте!»

Стихи Абдукарима Сари были остроумны и злы. Но в том виде, в каком они дошли до нас, они фрагментарны, очень сумбурны и насыщены специфическими терминами, которые, видимо, следует понимать в переносном смысле и расшифровать, увы, уже невозможно.

Были у Абдукарима Сари особые стихи, которые он читал на городище, у могилы Кюлли-момо. Характерно обращение к ней:

Мой цыпленок, заключенный в яйцо,
Кайвани моих пари¹,
Зерно Хорезма,
Наша мать — Кюлли-момо.

¹ Кайвани — в Хорезме руководительница на тоях, а в Шаббазе — воспитательница молодых девушек.

Не случайно, видимо, рядом с обращением к Кюлли в следующих строках идут имена Аль-Бируни и Ибн-Мусо; последнего Абдукарим называет иносказательно «своим дедом», имея в виду родство по духу.

Неоднократно Абдукарим Сари презрительно отзывался о завоевателях, принесших в Хорезм ислам и разрушивших древний Кят; он называл их латманатами. Это они, по словам Абдукарима, «выгнали нас на четыре стороны», «похитили наши плоды», «ввергли во мрак, засыпав пылью наши глаза», и в образе ворона «убили нашего сизого голубя».

Читая эти строки нищего вольнодумца, я невольно вспоминал слова Абу Рейхана Бируни о покорителе Хорезма Кутейбе, сыне Муслима, который «погубил хорезмийских писцов, убил священнослужителей и сжег их книги и свитки», вследствие чего «хорезмийцы остались неграмотными и полагались в том, что им нужно, на память»¹.

А память народа поразительна! Сквозь столетия она доносит до нас отголоски многих подлинных событий прошлого, в достоверности которых сомневаться не приходится. Разве шаббазские вольнодумцы с их преданиями, легендами и стихами не являются этому свидетельством?

Таджибай не знал, а может, не помнил, как жили эти люди. Вероятно, ютились где-нибудь в заброшенных строениях, семей у них не было, кто-то подкармливал их. Но было одно место, куда они сходились часто и где чувствовали себя свободно. Таким местом были развалины Кята, города, который они любили, который воспевали в своих песнях и развалинам которого оставались верны.

Таджибай показал мне, где они собирались. Сейчас все изменилось до неузнаваемости, но тогда у подножия одной сохранившейся угловой башни был крохотный глинобитный домишко в одну комнату; около него два грубо слепленных очага; за башней Абдукарим Сари зарывал свой лед.

Здесь по вечерам Мулло Алиёр, Абдукарим Сари, Алам-хурофати и их друзья сидели, говорили, думали, пели свои песни; на очаге кипела вода для чая. Сюда же иногда пробирались шаббазские мальчишки. Они сидели поодаль, тихо, впитывая в себя каждое слово этих не похожих ни на кого людей. Ну как могла не отложиться в мальчишеской цепкой памяти поразительная инструкция Алама-хурофати о том, как следует поступить, чтобы завладеть шайтаном и подчинить его себе?! «Надо смело схватить его одной рукой за шею, другой —

за хвост. Держи крепко: он будет извиваться, стараясь освободить себя, и может укусить, выпустив яд. Вот тогда и ты укуси его за спину. И у шайтана вырастут рога. Схватись за них, вскочи на него, и шайтан понесет тебя туда, куда прикажешь; держись только крепко, чтобы не упасть».

— Я был отчаянным мальчишкой, — сказал мне Таджибай, — я нарочно ходил на кладбища, чтобы встретить шайтана.

А я, слушая его, думал о странном совпадении: около тысячи лет назад, возможно, где-то здесь рядом, в окрестностях города, другой уроженец Кята, Абу Рейхан Бируни, писал в своих «Памятниках минувших поколений» о том, как Гаюмарс, первый человек древнеиранских мифов, овладел дьяволом Ахриманом, «и сел на него верхом, и стал разъезжать на нем по миру». И снова, уже более косвенным путем, переплелось с группой кятских вольнодумцев имя великого хорезмийца.

Допоздна засиживались вольнодумцы на городище, а иногда и оставались здесь до утра. Надвигалась ночь, подвывали где-то шакалы; становилось прохладнее. Вспорхнув стайкой воробьев, разбежались по домам ребятишки. А с темного городища долго еще мигал огонек и слышались негромкие голоса.

Детские впечатления Таджибая при всей своей мозаичности удержали основное — ощущение, что он соприкоснулся с чем-то необычным. Это он осознал уже много позднее.

В группе шаббазских вольнодумцев были и две уже немолдые женщины. Никто не знал их настоящих имен. В городе их называли Собир-киз («терпеливая девушка») и Мунг-ой («печальная луна»). О Мунг-ой наш собеседник не мог сообщить никаких подробностей. А Собир-киз, одинокая старая дева, была слепа. Она появлялась на посиделках, когда вечерами девушки и молодые женщины собирались в чьем-нибудь доме и пряли. Под монотонное жужжание чарха (прялки) Собир-киз пела свои тягучие песни.

Она дружила с матерью нашего рассказчика и часто бывала в их доме. Одну из песен Собир-киз Таджибай записал когда-то давно с помощью матери. Странной была эта песня, наполненная печалью о несбывшихся мечтах, песня-плач. «Темная моя голова, куда же теперь я пойду?!» — так безнадежно кончался каждый ее куплет. Но не мотив личного горя главенствовал в этой песне. Собир-киз пела о старом, вольнолюбивом Кяте, разрушенном иноземными пришельцами. Она жаловалась:

¹ Абу Рейхан Бируни. Избранные произведения, т. I. Ташкент, 1957, стр. 63.

Умертвили двух моих
старших братьев,
В Кят принеся, заставили
увянуть мои цветы,
Мою душу в воды горечи
погрузили!

И более позднее нашествие Чингис-хана на Среднюю Азию отражено в песне:

В сердце моем никогда не
исчезнет
Укус скорпиона Чингиса!

Не случайно Собир-киз обращается за сочувствием к найманам и уйгурам, двум узбекским племенам, которые первыми переселились в Хорезм из даштикипчацких степей в XVI веке, но позднее подверглись репрессиям со стороны хивинских ханов, были расчленены и рассеяны по территории оазиса.

Но свою песню Собир-киз пела уже в преддверии революционных перемен, что не могло не получить в ней должного отражения. Конец песни мажорный:

Но есть у меня мои шесть рослых найманов,
Есть казахи, русские и татары!
Радостны будьте, о девушки!
Откроем глаза в день,
Ставший праздником,
И увидим мой город Кят!

Два дня Таджибай провел с нами, но затем пришлось расстаться: его ждала работа. Я проводил его в аэропорт.

Итак, прежде всего надо было определить, хотя бы в общих чертах, что собой представляла шаббазская группа вольнодумцев и как она могла сохраниться в те годы.

У нас мало сведений, чтобы сделать сколько-нибудь серьезные выводы, но можно высказать предположение, что шаббазские вольнодумцы были самым поздним и весьма упрощенным проявлением каких-то сектантских течений, возможно весьма ранних, оппозиционных ортодоксальному исламу. Типичная для шаббазских вольнодумцев апелляция к разуму, к знаниям в противовес голой схоластике напоминает о мутазелитах, рационалистической школе богословия, распространенной также и в Хорезме XI—XIII столетий, а крайняя враждебность правоверному исламу роднит их взгляды с учением карматов, воинственной секты, представители которой осмелились в X веке даже совершить поход на Мекку, родину ислама, и разбить священный «черный камень» Каабы; позднее

учение карматов еще долго существовало законспирированно в мусульманских странах, в том числе в Средней Азии.

Не лишне также вспомнить, что Абу Рейхан Бируни, имя которого было столь почитаемо в среде шаббазских вольнодумцев, не только был автором книги «Рассказы о людях, носящих белое, и карматах», но и, по мнению ученых, сам симпатизировал карматскому учению¹.

Сейчас невозможно установить, с какими конкретно религиозно-политическими течениями в самом Хорезме можно генетически связать вольнодумцев Шаббаза. Слишком мало для этого фактов. Можно лишь предполагать, что такие предшественники у них были. В рассказе Таджибая я обратил внимание на один любопытный момент. Это, во-первых, термин «латманаты», который и Мулло Алиёр, и Абдукарим Сари употребляли по отношению к завоевателям VIII века. Значение его было мной разгадано довольно быстро. Ал-Лат и Манат — имена племенных божеств доисламских арабов, о которых историк Шахрастани (умер в XII веке), автор «Книги религиозных и философских сект», писал: «Они поклонялись идолам... Вадд был у племени калб... Сува у племени хузейль... ал-Лат была у племени сакиф в Таифе... Манат была у племен аус, хазрадж и гассан»².

Не может быть сомнений, что презрительная кличка «латманаты», равноценная по своему содержанию термину «язычники», в условиях двенадцативекового господства ислама в Средней Азии очень давнего происхождения. Но каким образом этот явно криминальный термин мог удержаться в государствах мусульманской ортодоксии — остается загадкой. Характерно, что наш собеседник не мог расшифровать этот термин. Следует предположить, что на протяжении всего средневековья в определенных кругах, быть может сектантских, из поколения в поколение передавались традиции протеста против ортодоксального ислама, а также связанные с ними фольклор и терминология. Тогда возник новый вопрос: случайно ли этот термин сохранился именно в Хорезме, если учесть, что Шахрастани, столь подробно писавший о племенных идолах доисламских арабов, по мнению ученых, сам был уроженец Хорезма?

Чем же можно объяснить, что такая активная группа вольнодумцев могла сохраниться в те годы, а представители ее не

¹ См. *Абу Рейхан Бируни*. Избранные произведения, т. I. Ташкент, 1957, стр. IX, XVI—XVII.

² См. «Происхождение ислама». Сб. М., 1931, стр. 85—86.

подверглись репрессиям со стороны мусульманского духовенства?

Причин, вероятно, несколько. Во-первых, весь правый берег Амударьи административно не был подчинен Хивинскому ханству; видимо, это в известной степени охраняло вольнодумцев от расправы со стороны духовенства Хивы. Во-вторых, и это главное, население Правобережья, пестрое по национальному составу, испокон веков отличалось более свободными нравами, не скованными мусульманскими догмами в такой степени, как в ханстве. Особенно это было заметно на положении женщин. Юноши и девушки свободнее общались между собой. В более отдаленном прошлом, когда в обстановке межплеменных и межнациональных раздоров постоянно существовала угроза вражеского вторжения, девушки и женщины не только вооруженными выходили вместе с мужчинами на поля и пастбища, но, как гласят предания, принимали участие в отражении набегов.

Местные кайвони — руководительницы на тоях и воспитательницы молодых девушек — обучали их не только домашнему хозяйству. В середине прошлого столетия особая слава шла о шаббазской кайвони Ай-Слу. Когда хивинские муллы прибыли в Шаббаз и собрали всех кайвони, чтобы через них воздействовать на женское население, заставить соблюдать мусульманские нормы поведения, в частности ношение паранджи, Ай-Слу сорвала занавеску, разделявшую комнату, где происходили переговоры, на две половины, и крикнула: «Будем говорить лицом к лицу!» Хивинцы стали угрожать, тогда Ай-Слу заявила: «Хорошо, я соберу своих учениц — девушек и женщин, дам им оружие, тогда увидим, на чьей стороне правда».

Надо полагать, что особое положение правобережья Амударьи, куда бежало немало людей по политическим и религиозным мотивам от преследований хивинских властей, содействовало тому, что здесь могла существовать группа свободомыслящих людей. Кроме того, не надо забывать, что это было особое время — канун революционных событий, когда в движение пришли все низы тогдашнего общества.

То, что мы узнали от Таджикиба, приоткрыло нам жизнь народа на одном из самых интересных этапов его истории.

Подошло время и нам покинуть Шаббаз. В последний момент я вспомнил об одном оригинальном строении, в прошлые годы виденном мною вблизи Шаббаза. Пронсясь на машине, я всегда замечал слева от дороги низкое глинобитное сооружение с лазом у самой земли, всем своим видом напоми-

нающее собачью конуру. Но около нее обычно восседала некая человеческая фигура, рассмотреть которую мне никогда не удавалось. Один раз я уловил момент, когда фигура на четвереньках залезала в будку. Кто-то тогда сказал мне, что здесь обитает отшельник, удалившийся от мира.

Теперь, в свете услышанного о шаббазских «еретиках», отшельник в будке привлек мое внимание, а аудиенция у него показалась многообещающей. Уж не является ли он каким-нибудь преемником шаббазских вольнодумцев начала столетия?

В последний день нашего пребывания в Шаббазе, когда наша МУ накачивалась бензином, мы с Гульнур-апа вышли из города и двинулись по пыльной дороге. Будка была на месте; мы заглянули в лаз: хозяин был дома.

Он отнюдь не выглядел аскетом. У него была задорная рыжеватая борода, а пол-лица закрывали шикарные очки мотоциклиста. Мы представились, и завязался разговор. Но беседа не клеилась. Подвижника надо было обязательно вытянуть из будки. Это оказалось делом безнадежным. Даже перспектива навестить шаббазскую чайхану его не увлекала. Видимо, его вполне устраивало то, что мы закрывали собой от дорожной пыли входную дыру в его резиденцию.

Пришлось покориться. Встав на колени, мы глубже протиснулись в лаз.

Отшельник рассказал, правда весьма сумбурно, о патроне города — святом шейхе Аббазе Вали, хранителем могилы которого, давным-давно уже исчезнувшей, он себя считал; поведал о чудесах святого и особенно оживился, когда заговорил о его сыновьях и прочем потомстве. От семейных дел святого отшельник перешел к собственным семейным неурядицам. Аскет оказался папашей, перессорившимся со своими взрослыми детьми и в знак протеста удалившимся в собачью будку.

Вопрос о шаббазских вольнодумцах он пропустил мимо ушей, так как с увлечением рассказывал нам подробности своих семейных дразг. Итак, надежды не оправдались. Подвижник в очках мотоциклиста был взращен на совсем иной почве, нежели славные вольнодумцы начала века.

На другой день, распрощавшись с шаббазцами, мы уезжали из города. МУ выскочила на дорогу. Ее пыльный шлейф, поднявшись в неподвижном воздухе, скрыл от глаз тополя Шаббаза, вынырнувшую между домами башню древнего Кята; справа промелькнула собачья будка «короля Лира», и пошли бесконечные хлопковые поля. Машина неслась к горам Султаниздаг.



Но все имеет конец. «Дервишская сума», переполненная дарами Хорезма, оттянула мне плечо. Пора подводить итоги нашим странствиям, нашим сборам и прощаться с Хорезмом. На этот раз уже не так, как мы прощались раньше, садясь в самолет, когда душа оставалась на берегах Аму, и мы знали, что пройдет зима и опять будем здесь. На этот раз прощание основательное. Кто знает, удастся ли еще побывать в этом крае?

За все эти годы мы исколесили оазис вдоль и поперек, посетили десятки городов и селений, у нас появились сотни знакомых и друзей — славных помощников в наших увлекательных поисках. Полевые дневники наши разбухли от обилия накопленных сведений. Прежде чем увезти все это богатство домой, надо спокойно посидеть и подумать обо всем, что сделано.

Нигде так хорошо не думается, как в самом Хорезме. Каждая мелочь напоминает о проделанном и о том, что ты еще не успел сделать. Сколько раз в Москве, обобщая собранный материал и натываясь на «белые пятна» в своих познаниях, я досадовал, что нельзя выбежать на улицу, остановить первого попавшегося старика и задать ему самый необходимый в тот момент вопрос. Увы, хорезмские старики не бродят по улицам Москвы!

Итак, пока ИЛ-18 еще не унес нас с Нукусского аэродрома, найдем тихое, спокойное местечко, раскинем наш бивак, отдохнем и соберемся с мыслями. Но куда же направиться? Куда? Да ведь перед нами пока еще весь Хорезм, и верная МУ домчит меня и моих спутников в любой его уголок.

Быть может, остановимся в Ханки, где нам в свое время так хорошо работалось? Нет, там стало как-то непривычно. Нет уже в живых старого Садуллы. Нет уютного дворика с цветущим райханом, а его хозяйка Момоджан давно живет в большом незнакомом доме, надела наконец старушечий лачак, полна забот о детях своей строптивой дочки.

Можно обосноваться у стен древней Хивы, в бывшем загородном дворце хана, где мы уже дважды останавливались. Там в саду сквозь неподвижную листву столетних деревьев по ночам мерцают крупные звезды, замогильным голосом ухает ночная птица, а в узких переходах дворца бродят тени замученных пленниц гарема. Нет, этот вариант отпадает. Сейчас в ханском дворце, разгоняя привидения и пугая ночную птицу, разноголосно бурлит лагерь хивинской пионерии.

Нас примет гостеприимно любая из усадеб-крепостей — хаули, разбросанных среди хлопковых полей вдоль Палван-арыка. Мы, как бывало, можем приткнуться нашу машину к стене усадьбы, расставить под деревом походные койки и разложить спальные мешки, церемония залезания в которые всегда вызывала бурный восторг ребятишек. Днем, в жару, мы укроемся в прохладной тени дализа — крытого коридора усадьбы, а ночью будем смотреть в черное небо и слушать, как где-то вдали лениво перекликаются хуторские собаки. Но мы забыли, что таких хуторов с каждым годом становится все меньше, что в знакомых нам местах на Палван-арыке давно уже выросли компактные поселки городского типа с шумной уличной жизнью, где расположиться отрядным лагерем, пожалуй, столь же сложно, как и на улице большого города.

Можно опять посетить городок Бируни на правом берегу Амударьи и расположиться у одной из разрушенных стен древнего Кята. Нет, теперь мы не узнаем его, после того как совсем недавно волны своенравной Амударьи снова прошлись по его низинной части.

Мазар Султан-бобо в предгорьях? Может, мы еще раз навестим усыпальницу подвижника? Но в последние годы там стало безлюдно. Изредка лишь одинокая старуха бредет сюда через степь. Нет, пожалуй, с нас хватит мазаров.

Мы знаем, где остановимся. Мы поедем еще дальше на север вдоль правого берега Аму. Там, за последними скалами кряжа Каратау, в пойме реки, блестит старое озеро Ходжа-куль. Как мы могли забыть о нем и о том, что именно здесь бывала последняя остановка нашего отряда перед отправкой домой? На озере мы всегда отдыхали, мылись, брились, стирались, чтобы в полном блеске въехать в Нукус. Стоит ли и на этот раз нарушать традицию? И пусть со мной в этом последнем маршруте будут одновременно все спутники моих скитаний по Хорезму. Это славный, дружный народ, и я не хочу под конец расстаться ни с кем из них. У всех нас есть о чем вспомнить.

И вот наша МУ берет курс на север. Уже промелькнул

Бии-Базар, небольшой поселок, весь пропитанный запахом жареной рыбы, фирменного блюда местной чайханы. Соблазнительно, но мы проносимся мимо: рыба у нас впереди. Все чаще по сторонам островки камыша: мы спускаемся в знаменитую впадину у восьмидесяти первого километра, где когда-то на обширном пространстве плескалось озеро Истемас. Оно обозначено на старых картах. Озера давно нет, но в те годы, когда Амударья плохо ведет себя, воды ее по старой памяти проникают в эту впадину и машинам приходится нащупывать объезды.

Кончилась пыль низинных дорог; по крутому каменистому подъему наша МУ осторожно взбирается на плоскогорье и набирает дух, готовясь к бешеной гонке. У меня это плоскогорье вызывало всегда уныние: выжженная, без единого дерева и кустика степь, на горизонте виднеются совсем одинаковые скалистые холмы, светлая лента шоссе кажется бесконечной.

Даже наш степенный водитель старается как можно скорее проскочить безотрадный пейзаж. Иван Петрович развивает страшную скорость. МУ, закусив удила, несется, как бы не касаясь колесами земли; здесь на шоссе «гребенка», но мы ее не ощущаем. Я сижу в кузове, и от тяжелой волны встречного воздуха очки прилипают к закрытым векам. Но вот плоскогорье кончается, из-за последних скал открываются зеленые дали оазиса, и наша машина осторожно сползает с кручи в пойму реки.

Впереди блестит Ходжа-куль. За ним на горизонте возникает конус Чилпыка — искусственного холма с остатками стен на вершине.

Справа от нас, понижаясь по течению реки, тянутся невысокие холмы предгорья. Весной от свежей зелени они кажутся бархатными, сейчас трава выжжена летним солнцем. Каратау, оставленный нами позади, нависает над низиной поймы отвесными стенами. Амударья близко, но отсюда, снизу, ее не видно за тугаями.

С озером Ходжа-куль у нас связано немало воспоминаний. Лет пятнадцать назад, когда мы впервые появились в его окрестностях, нам посчастливилось обнаружить у подножия Каратау остатки крепости, именуемой Абумуслим-кала; черепки поливной керамики, найденные среди остатков стен, датируют ее X—XI веками нашей эры. Рядом, в деревьях, оказалось небольшое кубической формы строение, мазар святого. Одиноким шейх, хранитель гробницы, толстый, на одном костыле, показал нам священный родник Джидали-булак,

вытекавший из подножия Каратау; все кустики рядом с ним были увешаны лоскутками — дарами паломников.

В тот далекий теперь вечер мы с Рюриком полезли вверх по почти отвесной тропинке между скал. По пути на небольших выступках нам попались два святилища — беспорядочные нагромождения темных, почти черных камней с воткнутыми среди них шестами. На вершине Каратау было мрачно. Мы побродили здесь, тщетно надеясь обнаружить следы человека, и, когда совсем уже стемнело, потеряли, конечно, нашу тропинку. Подойдя к откосу и ни о чем не договариваясь, ринулись вниз без всяких троп. Словно горные козлы, прыгали с уступа на уступ; камни лавиной осыпались из-под наших ног; мы старались лишь сохранять равновесие, чтобы не скатиться вниз. Спуск занял минут пятнадцать. Оказавшись у подножия в густом кустарнике, мы посмотрели вверх и ахнули: над нами возвышалась почти отвесная стена, верхняя граница ее утонула в темноте.

Помню я также, как на другой день после этого спуска с Каратау мы, уже втроем, обошли налегке весь горный кряж по его подножию и, пройдя километров десять, достигли крепости Гяур-кала, уже знакомой нам по прошлым раскопкам археологов нашей экспедиции. На протяжении всего пути Нина Петровна шла мрачная: она не могла нам простить, что вчера мы не взяли ее на вершину Каратау. Назад к озеру возвращались тем же путем. Здесь, у подножия гор, в низине, заливаемой в половодье рекой, царил буйная, совсем не свойственная Хорезму растительность. Какие-то сочные могучие травы доходили до пояса, со всех сторон хватали нас колючками кусты с блестящими листьями. Вдали по этому зеленому пойменному лугу неслись, играя, табуны рыжих коней, полыхая в лучах предзакатного солнца.

С тех пор прошло немало лет, и вот мы снова у Ходжа-куля. Медленно подъезжаем мы к озеру, обдумывая, где сделать остановку. Мы помним озеро безлюдным, бесшумным и диким, покрытым густым камышом. Сейчас оно заросло, пожалуй, еще больше, но на его участке, ближайшем к горам, теперь воцарилась утиная ферма. Ее упитанные обитательницы, важные и горластые, не обращают на нас никакого внимания.

Солнце совсем низко. Мы объезжаем озеро и останавливаемся на мысу, который вклинился в камыши. По удивительному совпадению все мужчины нашего отряда, кроме меня, — страстные рыболовы. Озеро им хорошо знакомо: здесь не раз забрасывались удочки, а уха стала традиционным блюдом ве-

черного ужина на его берегу. Поэтому стоило машине остановиться, как Иван Петрович, Стеблюк, Рюрик и Садреддин мгновенно исчезли; только шуршание раздвигаемого камыша в два человеческих роста указывало направление их рейда в глубь зарослей.

Остывая от быстрого бега, наша МУ молчаливо любитесь закатом. У палатки стонет Гульнур-апа, отбиваясь от первого натиска комаров. Нина Петровна опустила руки в воду и тихо напевает: «Был бы я богат, как султан богат, я б умчал тебя на коне в Багдад...» Уже попыхивает паяльная лампа, и Галя близоруко всматривается в кастрюлю, откуда вылезают макароны — все те же неизменные макароны. Из камышей изредка доносится чертыханье, когда карась срывается с крючка, и ехидный смешок более удачливого рыбака.

Я сижу в стороне у большого камня и смотрю, как вдали крохотные, похожие на жуков, грузовики взбираются по шоссе на горное плато. Потом я мысленно открываю свою «дервишскую суму» и перебираю все то, что собрано было за годы моих странствий по дорогам оазиса, — дары тех, кто встречался на моем пути.

Из приоткрытой «дервишской сумы» с моими богатствами прежде всего с шумом вылетает сонмище духов. Освобожденные из плена в потемневшее небо штопором ввинчиваются громогласные дэвы, вырастают до гигантских размеров и, неуклюжие, тяжелой походкой разбредаются по горам. Шелестя чешуей по сухой траве, извивается между валунами огнедышащий дракон аждархо, пытаюсь протиснуть свою жирную тушу в расщелину между скал. Карлица албасты семенит в сторону человеческого жилья — туда, где уже зажглись огни в прибрежном кишлаке. В туманной дымке, окутавшей озеро, витают прекрасные пари, а ниже, в зарослях камыша, роятся, как мошкара, гудят и пищат зловредные джинны.

Пусть они разлетаются и разбредаются, мы уже достаточно познакомились с этим призрачным миром. Собранные в Хорезме материалы позволяют с большей уверенностью классифицировать образы среднеазиатской демонологии, привязать их к определенной природной среде и тем самым проникнуть к истокам возникновения религиозного мышления. Бесплотные демоны подводных течений арангляры, духи, обитающие в зарослях джиды, одурманивающей человека, или носящиеся по степи в пыльных смерчах, — все эти образы принадлежат к наиболее архаическому пласту верований, связанные с теми явлениями природы, которые на заре человеческой

истории были непонятны, таили угрозу, а потому наделялись сверхъестественной силой.

Я прислушиваюсь. Откуда-то издалека, наверное из самых глухих уголков Хорезма, доносятся мерные удары в бубен. Ритм их убыстряется. Я вижу искаженное в экстазе лицо старой шаманки и безвольную фигуру Тохты, окутанной черным платком; обозленные духи покидают тело больной. Как этнографу, мне досадно, что не пришлось увидеть воочию хорезмское камлание шамана, но вместе с тем отраднo, что шаманство принадлежит уже прошлому. Следы же его не потеряны, они здесь, в моей «копилке».

Камлание в моих воспоминаниях сменяется веселым свадебным шествием — невесту перевозят в дом жениха. Качнувшись, «Волга» переезжает через костер, пламя которого призвано очистить невесту от всякой скверны. Хлопочут янги — дружки невесты, зорко оберегая ее от сглаза и прочих несчастий. На колени ей сажают ребенка, чтобы супружество увенчалось потомством.

Все обряды свадьбы, равно как и церемонии, сопровождающие рождение и воспитание детей, пронизаны магическими элементами, разного рода оберегами, назначение которых — обеспечить таинственной силой вещей и действий благополучие молодых и детей. Обширный материал о семейной обрядности, кропотливо собранный Ниной Петровной и Гульнур-апа главным образом среди веселых, увлеченных своими рассказами представительниц прекрасного пола, бережно хранится в особом уголке моей «сумы»; он ляжет впоследствии в основу тематических исследований.

Тихо у озера, но через весь засыпающий оазис я слышу глухие удары молота по наковальне; они доносятся с противоположной окраины Хорезма, оттуда, где в песках Каракумы прячется в барханах античная крепость Каладжик. Это трудится в своей подземной мастерской легендарный хазрет Дауд; я слышу срывающийся тенорок муллы Садуллы, повествующий о подвигах святого кузнеца. За Каладжиком в памяти всплывают бесчисленные мазары — святилища, в большинстве своем уже тронутые временем, заросшие колючкой и забытые людьми. Мы находили их в городах и селениях, на кладбищах, на скалах хребта Султануиздаг, в болотистых низинах, через которые человек пробирается с трудом.

Из этого нагромождения святилищ, больших и малых, действующих и заброшенных, память выхватывает мазар Гюли-бии, «цветочной госпожи», средоточие странного женского культа, так и оставшегося не разгаданным до конца. Я вижу

столетнюю Айшу, которая тянет дрожащие руки к обступившим ее теням умерших ишанов, а на ее коленях весело барахтается правнук — будущий летчик.

Хорезмские святилища. Легенды о них нами записаны; ритуал паломничества к ним увиден и зафиксирован в дневниках и на пленке. Пусть все это на первый взгляд несколько мозаично; впоследствии эти сведения помогут с достаточной полнотой уяснить природу культа святых — этого характерного для Средней Азии явления, понять, на какой исторической основе он возникал и оформлялся в ту эпоху, когда мусульманство только еще завоевывало здесь свои позиции.

Я вспоминаю и развалившийся очаг дервишей-каляндаров, от которого осталась лишь грудa глины. Но мне кажется, что где-то по кишлакам Хорезма еще бродит последний представитель этого мистического ордена. Я доволен тем, что удалось узнать о здешнем мистицизме.

Я закрываю глаза, и пропадают вечерние сумерки. Сквозь дымку раскаленного полдня я вижу Хиву, ее голубые купола и минареты, пеструю толпу на узких улочках Ичан-калы. Я снова иду по пустынному кварталу «служителей мертвых», и старики с угрюмыми лицами молча провожают меня взглядом.

То, что мною собрано о пережитках семи «отверженных» профессий, можно назвать открытием. Но это — только начало. Не знаю, попаду ли я еще в Хорезм, но тема эта надолго останется в центре моих научных интересов.

Я всматриваюсь в далекие огоньки еще не уснувшего селения. Где-то там, за тугаями побережья, стремительно несет свои желтые воды Амударья — прекрасная Анахита, богиня плодородия. Забыто ее имя, ушли в прошлое торжественные жертвоприношения ее водам, но все так же могучая река дает воду людям, животным, растениям. Рассказы старых капитанов и хлеборобов Хорезма раскрыли нам картину некогда мощного культа плодородия, охватывавшего и сферу трудовой деятельности людей, и область семейных отношений, и женского быта. Собранные об этом материалы вписывают новые страницы в историю религиозных верований народов Средней Азии.

Совсем стемнело. Спутники мои при свете «переноски» чистят рыбу. Где-то в степи полыхнуло пламя костра. Чабаны ли это вблизи своих уснувших отар, или такие же, как и мы, «бродяги», заночевавшие в пути? А вдруг это мои кятские вольнодумцы коротают недолгую летнюю ночь, сгрудились у костра, читают свои безбожные газели и, усмехаясь, вспоми-

нают словесные сражения с ханжами из местной мечети? Жужжит прялка слепой Собир-киз, и тянется вслед за нитью ее негромкая песня: «Радостны будьте, о девушки! Настанет праздник, и, открыв глаза, мы увидим наш город Кят!»

Я складываю свои полевые дневники. Их много. Непрезентабелен их вид: беглые карандашные записи поблекли и местами стерлись; их выжигало солнце, они мокли под весенним дождем; между страницами хрустит песок великих пустынь. Но они — немалое богатство. В них собраны драгоценности народной памяти, которые не почерпнешь ни в одной из многотомных энциклопедий.

Есть в дневниках и законченные, цельные записи, есть и скупые, отрывочные наброски, россыпи сведений, среди которых нередко попадаются «жемчужины». Ничего, что собранное нами кажется пока несколько хаотичным. Настанет время, и все это будет тщательно изучено, рассортировано, мельчайшие частицы сольются в единое целое. Так археолог, бережно подгоняя осколок к осколку, восстанавливает по фрагментам керамики древний сосуд редкой и забытой формы.

Нам предстоит такая же кропотливая работа. И тогда наши записи заговорят внятным голосом, расскажут людям о том, что уже погребено в недрах истории, о человеке прошлых эпох, о его сомнениях и заблуждениях, вызванных искаженным представлением об окружающем мире.

Нет, мы недаром блуждали по дорогам Хорезма, уподобившись бродячим дервишам. Мы теперь богаты, нам есть о чем поведать людям. «Записывай все, что ты слышишь. Расскажи о прошлом Хорезма», — просили меня старики. Я выполнил ваш наказ, яшулы¹! И в основе моей книги² заложено то, чем вы меня щедро оделили.

Но это все потом. А пока я иду к моим спутникам. Последний раз мы блаженствуем на берегу ночного Ходжа-куля. Мы поужинали и расставили свои походные койки. Чуть-чуть шумит камыш. Мы лежим и смотрим в небо. Завтра в путь, на север, куда опрокинулась сейчас звездная «кастрюля» Большой Медведицы. А далеко в степи все еще полыхает пламя одинокого костра...

¹ Яшулы — почтительное обращение к людям старшего возраста.

² См. Г. П. Снесарев. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М., 1969.

СОДЕРЖАНИЕ



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ	3
ЛЮДИ И ДУХИ	23
МУЛЛА САДУЛЛА	47
ДВА ВИЗИТА К «ЦВЕТЧНОЙ ГОСПОЖЕ»	62
У ЗАГЛОХШЕГО ОЧАГА	78
НАСЛЕДИЕ ПРЕКРАСНОЙ АНАХИТЫ	98
«СЛУЖИТЕЛИ МЕРТВЫХ»	118
ВОЛЬНОДУМЦЫ С РАЗВАЛИН ДРЕВНЕГО КЯТА	138
ПРОЩАНИЕ С ХОРЕЗМОМ	152

Снесарев, Глеб Павлович
ПОД НЕБОМ ХОРЕЗМА
(Этнографические очерки)

Редактор *М. И. Макарова*
Младший редактор *С. И. Ларичева*
Оформление художника *Е. В. Ратмировой*
Художественный редактор *С. М. Полесицкая*
Технический редактор *О. А. Барабанова*
Корректор *Ч. А. Скруль*

Сдано в набор 2 марта 1972 г. Подписано в печать 21 декабря 1972 г. Формат бумаги 60×84¹/₁₆, № 2. Усл. печатных листов 10,7 (с вкл.). Учетно-издательских листов 11,32 (с вкл.). Тираж 65 000 экз. А04573. Цена 58 коп. Заказ № 596

Издательство «Мысль».
117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15

«Союзполиграфпром» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького, Ленинград, Гатчинская ул., 26 с матриц ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова. Москва, М-54, Валовая, 28

